

Часть первая

КУПАВНА

ИЗ НОВОГО РОМАНА



АЛЕНСЕЙ ВАРЛАМОВ
Писатель и публицист,
исследователь истории
русской литературы XX века.
Доктор филологических
наук, профессор МГУ, ректор
Литературного института
имени А. М. Горького.

Автор множества книг,
лауреат ряда литературных
премий, в числе которых
«Большая книга», «Студен-
ческий Бунер», Премия
Александра Солженицына
и Патриаршая литературная
премия.

3.

Сорок девять – это семь семерок. Я всегда считал семерками жизнь и особенно внимательно от-носился к тем годам в своей жизни, которые были цифре семь кратны. Первая моя семерка была чудесна, вторая несколько хуже. Третья так себе. Начиная с четвертой жизнь взметнулась, а потом все ухнуло куда-то вниз, да так там и осталось. Но на сорок девять я себя все равно не ощущал. Лет накопил, а ума и денег нисколько. У Цветаевой, кажется, есть стишок про легкомыслие, милый грех, милый спутник и враг мой милый – так это все про меня. И, в сущности, именно легкомыслие и довело меня до того состояния, в котором я теперь оказался. Плюс неумеренное любопытство. Два моих скользких конька.

Я таращился всю дорогу по сторонам, а подбравшая меня машина все ехала и ехала – мимо заснеженных гор, рек, ручьев, еще не вскрывшихся озер, черных елок, деревушек, одиноких домов, горнолыжных трасс, отелей, отреставрированных или полуразрушенных средневековых замков, и мне ужасно нравилась эта картина. Она была чем-то похожа на волшебную страну из сказки про девочку Элли. Водитель мой, к счастью, ни о чем не спрашивал. Ему было достаточно того, что он обругал меня на неизвестном мне наречии,

а потом сжалился и увез от цыган. Кто он был по национальности, я не понял. Номера у трейлера значились испанские, но когда я попробовал заговорить на языке этой страны, он отрицательно помотал головой. Может, каталонец был, а может, баск, но мне так нравилась большая, послушная машина и этот невозмутимый добрый человек, что я был готов ехать с ним куда угодно по дорожному покрытию сквозь земное пространство.

Я проваливался в сон, потом виновато просыпался – казалось нечестным спать, покуда человек слева от меня работает, да и сонливость штука заразная, но он невозмутимо вел свой долгий вагон. Их на российских трассах я всегда боялся и закрывал глаза, когда друг мой Павлик лавировал меж ними на пятнистом армейском джипе. Однако тут все двигались мирно, никто не сигналил, без нужды не обгонял и не вылезал на левую полосу. Горы то отступали, то приступали к дороге, мы ныряли в туннели и выходили на поверхность, съезжали с больших дорог на второстепенные, забираясь все выше; я не знал, куда едет таинственный сепаратист и что везет, но вскоре наши пути сделались такими узкими и крутыми, что было непонятно, как может эта длинная неповоротливая машина вписаться в горный серпантин.

В четверть шестого пошел дождь, который сменился снегом. Фура ехала тяжело, но при этом

очень уверенно, не буксуя на подъемах и плавно тормозя на спусках. Иногда навстречу попадались автобусы или другие фуры, и тогда оба водителя останавливались и как в сложнейшей хирургической операции проплывали в нескольких сантиметрах друг от друга. Несколько раз мы зависали над пропастью, фура замирала, и я прощался с жизнью, однако баск был невозмутим. Ни тени волнения или довольства собой не было на его сосредоточенном, уверенном лице, когда ему удавалось пройти, никого не задев, очередной крутой поворот. Наконец мы взгромоздились на заснеженный перевал, спустились на несколько витков и остановилась возле харчевни с гостиничкой на втором этаже. Она называлась «У мамы» и смотрела на дорогу смешной вывеской:

Добре пивечко, добре винечко, добре едло.

Водитель остался ночевать в машине, а я пошел в отель, плача от умиления и восторга. Была пора равноденствия, но весна здесь запаздывала, пахло сырой хвоей, талым снегом, пели птицы в лесу, и мне почудилось то сонное умиротворение, какое давно искала моя измученная душа. Я стал напевать про себя песню, под которую мы обнимали своих подружек в медленном танце в стройотряде в степи под Целиноградом, а над нами светили близкие, яркие звезды и падала за горизонт полная луна в те ночи, когда на Байконуре запускали космические корабли. И хотя пожилая словачка, встретившая меня на первом этаже, была так же похожа на калифорнийскую деву, как и я на одинокого странника на темном пустынном шоссе, номер «У мамы» был чистый, просторный, окна смотрели на церковь с высоким шпилем и небольшую площадь; постель была широкая, мягкая; на потолке висело зеркало, большая ванна располагалась прямо посреди жилой комнаты – вероятно, апартамент предназначался для любовных пар. Я грустно вздохнул и тотчас провалился в сон, как в обморок, и – редкий случай – спал без сновидений, хотя иногда мне слышались сквозь тяжкую дрему детские голоса. Когда я вывалился обратно в действительность, над горами поднялось солнце, было тихо-тихо, а трейлера с его безмолвным вагоновожатым уже и след простыл.

Одиннадцать одиннадцать. Черт возьми! Я должен был ехать с баском дальше, я просил накануне хозяйку, чтобы она меня разбудила, и не виноват, что проспал. Какого черта? Торопливо сбежал вниз и увидел светлую террасу, на которой был накрыт завтрак с сырами, колбасами и йогурта-

ми, но самое удивительное – с рогаликами, которые продавали в мое пролетарское детство за пять копеек в булочной на углу Автозаводской улицы наискосок от райкома партии, и я считал их навсегда исчезнувшими из жизни. Я был очень голоден и набросился на еду, и если бы не эта животная жадность и изобилие утренних яств, наверняка удивился бы тому, что отель был пуст, однако впечатление складывалось такое, что ночью в большом каминном зале пировало человек двадцать. И куда они, интересно, делись? Группа какая-нибудь, наверное, экстренная...

«Колько маєте рожков?» – ласково спросила добрая пани, и мой гнев вместе с недоверчивостью и любознательностью рассеялся, как облачко над перевалом, а сам завтрак назывался раньяком, фрукты овощами, овощи зеленью, свежий хлеб черствым, колбаса кlobасой, ветчина шункой, а продукты потравинами.

Я плюнул на все и решил остаться «У мамы» и ждать дальше указаний от Пети, тем более что горнолыжный период закончился, гостиничка по случаю межсезонья пустовала и стояла совсем недорого. Спросил на всякий случай у хозяйки, не ожидается ли новая группа. Она удивилась моему вопросу и даже с какой-то грустью ответила, что никаких групп давно не было, да и вообще в гостинице из-за кризиса теперь редко бывает народ. Все это показалось мне несколько подозрительным, но все же не до такой степени, чтобы отсюда сразу же сбежать.

4.

Просыпался я поздно, съел свои рожки с шункой, уходил на весь день гулять по городку и его окрестностям, и не было ничего более прекрасного, чем эти прогулки с медленными подъемами и спусками, и ранние сумерки, и звезды над горами, и встававшая из-за темных склонов печальная луна. Снег в распадках еще лежал, но ручьи были полны водой, она падала повсюду, шумела, пела, плясала, и чудилось, что я нахожусь в каком-то ошеломительном, звенящем водном царстве. Хотелось ходить и ходить, подниматься на вершины, ночевать в лесу у костра, но уже не позволяли ни силы, ни годы – одышка, спина, ноги... Ну хотя бы так, поглядеть издали, полюбоваться...

Вечерами пани Тринькова зажигала камин, ждала меня с ужином и волновалась, если я задерживался дольше обыкновенного. Хозяйка была очень добра ко мне, а может быть, все дело было

лик – его фамилия. Петя Павлик. Это отдельная история, и если вы не хотите, чтобы я заснул в этом кресле, то благословите меня, батюшка, выпить еще вина. Оно действует на мой организм отрезвляюще. Мне нравится, как горят ваши свечи! А интересно было бы узнать, часто ли у вас отключают электричество. В Купавне это случилось почти всякий раз после грозы, а грозы там были не редкостью. И какие грозы! Я с тех пор таких нигде и не видал, все как-то поблекло, пожухло в подлунном мире, так... соберутся на небе тучки, потрутся друг о дружку, блеснет далекая молния, погромит кое-где, поворчит и пройдет стороной. А тогда, Бог ты мой, как страшно замирала природа, только слышался плач младенцев, когда приближались и сталкивались черные дрожющие облака, как сверкало, высвечивало небо и озаряло тьму, с каким чудовищным треском гремело вокруг, как отчаянно лупил дождь и сыпал град, какой бешеный дул ветер, пригибая деревья к земле, и как радостно они раскачивались и плясали, заламывая ветки, и гром от одной молнии не успевал стихнуть прежде, чем сверкала другая. Пробки в доме мы отключали еще до начала грозы, но иногда молнии били так близко, что в комнате вспыхивали электрические лампочки и включалось с треском старенькое ламповое радио.

Это была всамделишная война между небом и землей, которая, казалось, никогда не прекратится, и все завершится концом света. Самые маленькие и самые старенькие прятались под столом и плакали, хулиганистые становились смиренными, неверующие крестились, а верующие читали молитвы, но потом, когда туча уходила и в воздухе пахло озоном, мы выбегали босиком на улицу и прыгали по теплым, глубоким лужам, радуясь тому, что мир уцелел и жизнь вернулась, и вместе с нами горланили счастливые петухи в деревне за однопутной железной дорогой. Садоводы и садоводки подсчитывали убытки – побитые кусты, поломанные деревья и разбитые окна, бабушка приносила из сарая керосиновую плитку и зажигала керосиновую лампу, и мы догадывались, что на ужин будет что-то очень простое и необыкновенно вкусное, вроде жареной докторской колбасы с хлебом. Взрослые говорили о том, что частые грозы происходят из-за большого количества воды, которая окружала наши участки, но мы-то знали, что дело в другом, о чем нельзя говорить вслух, тем более с посторонними. А происходило все это в Купавне, в благословенной Купавне, куда меня отправляли в детстве

каждое лето на три месяца. Вам, батюшка, этот топоним, скорее всего, ничего не скажет, а между прочим, красивое название и место было под стать – всего один школьный урок на электричке с Курского вокзала.

У нас был там садовый домик. Конечно, не такой, как у вас здесь. Дошатый, щелястый, холодный, с крышей из шифера, и это еще считалось хорошо, потому что у многих хозяев кровля была сделана из рубероида и часто протекала. Но все равно он был очень уютный, родной, своими руками построенный, а главное – никому до нас не принадлежавший. На первом этаже располагалась узенькая застекленная терраска с выцветшими занавесками, обеденным столом и репродукцией Сикстинской мадонны, топчан, табуретка для ведра с чистой водой и подпол, который мы использовали вместо холодильника, а дальше две смежные комнатки. Одна побольше с диваном и окнами в сад, другая, поменьше, с железной кроватью, выходила на улицу на восточную сторону. В этой комнатке жил я, и когда просыпался в солнечное утро, то ветхие кружевные занавески отбрасывали тени на дошатой стене, и я смотрел, как они перемещаются. По этим теням можно было определить, который сейчас час, и мне кажется, именно тогда я приобрел способность чувствовать время. Хотя, знаете, скорее этому помог мой отец. Однажды он научил меня считать секунды, прибавляя к каждой цифре двадцать два. Раз двадцать два, два двадцать два, три двадцать два, четыре двадцать два, пять двадцать два, и тогда ты пойдешь вровень со временем. Я, кстати, проверял это потом на уроках физкультуры в школе. Хлеб Батович (так звали мы учителя Глеба Борисовича) иногда давал нам задание двигаться по кругу ровно минуту, которую каждый считал про себя, и было очень забавно смотреть, как мои одноклассники останавливались кто на сорок второй секунде, кто на сорок девятой, кто на пятьдесят шестой, а некоторые на шестьдесят третьей, и только я никогда не ошибался.

На втором этаже нашей дачки не было ничего, кроме старых газет, литературных журналов и брезентовой байдарки; мы любили туда лазать и смотреть сверху на наш поселочек. Он появился в конце пятидесятых годов на болоте, которое осушили купавинские пионеры и среди них – мой дед с бабкой. Это были славные, крупные люди, каких сейчас уже не осталось. Они состояли к тому моменту в разводе лет двадцать, но бабушка единственная из четырех законных дедовых

жен – а незаконных было не счесть – родила ему детей, и именно им он подарил участок. Точнее, моей маме, но какое это имело значение, если все у нас было общее? Суместно обместях, как любила приговаривать бабушка, и со всею жаждой, любовью, тоской, обидой, ревностью и благодарностью к неверному мужу она принялась вместе со взрослыми сыновьями и зятем осваивать эту землю, так что к тому времени, когда я родился, мешерское змеиное болото превратилось в райский вертоград. Яблони и вишни разных сортов, кусты смородины, жимолости, сирени, черемухи, шиповника и мелких белых розочек, грядки с овощами, зеленью, клубника, парники. Это была их личная поднятая целина, их обретенная родина, их пядь земли, которая годилась, чтобы видеть в ней приметы не абстрактной родины, а свое, кровное, милое. Так было у всех хозяев, ибо в уставе садоводческого товарищества была прописана его высшая цель – создание коллективного сада, а это ведь все равно что построить коммунизм в одной отдельно взятой Купавне, – но, знаете, отец Иржи, иногда я думаю о том, что, в сущности, эти добрые сотки настоящий коммунизм и погубили. Потому что если прежде можно было убедить людей от своего отказаться, жить и умирать ради общего будущего, то теперь вместо дальнего у народа появилось ближнее, личное, настоящее. Неимущие вновь стали мелкими собственниками, утратив революционную наготу, и грандиозный советский проект погас, потух, растаял, растекся, рассыпался по дачным товариществам от Калининграда до Владивостока. Да, те самые дачки, что некогда убили чеховский вишневый сад, меньше чем сто лет спустя обрушили громадную державу эс-эс-эс-эра.

Разумеется, советское долго не отпускало нас, и каждый год правление товарищества во главе с председателем Кукой обходило участки и проверяло, как используется данная владельцам во временное пользование государственная земля, и ставило оценки. Их вывешивали на доске почета и позора возле правления, и какой же стыд был для хозяев, если они получали ниже четверки! Как обижались, расстраивались, ревновали друг к другу, как злились на придирчивого Куку или перед ним заискивали, но старались не только из-за страха или стыда, а потому что дорвались, истосковались по земле, и я представлял себе этих удивительных людей, которые столько намыкались, перетащили, вынесли на себе в предшествующие годы, и вот теперь им

наконец дали роздых и утешение – восемь соток своей земли – и разрешили построить на них дощатые домики. Но только дощатые, без печного отопления и площадью не больше чем тридцать квадратных метров, а если кто-то нарушал этот закон, от него требовали убрать лишнее. И мои добрые дядюшки едва не поссорились насмерть из-за того, что один схватился за топор, чтобы рубить выступающую на полметра террасу, а другой схватил его за грудки:

– Не ты строил, не тебе и рубить!

Однако детей эти распри не касались. Мы жили счастливо и безмятежно. А точнее, наоборот, мятежно, как и положено в отрочестве и в юности жить.

Про свою детскую кроватку и манеж под яблоней врать не стану, я плохо помню это время, хотя какие-то подробности память хранит, и я часто вижу бабушку, которая носит меня на руках и называет имена самых простых и важных вещей. Среди них была красивая, мерцающая угольками зола, куда однажды я сунул руки, думая, что это песочек. От моего крика вздрогнули часовые на бисеровском полигоне, а руки вылечил соседский доктор, но намного лучше я помню, как сначала мне строго-настрого не разрешали выходить за калитку на улицу, и я мог играть только в саду, потом нельзя было уходить с улицы, еще через год – из поселка, а потом, когда мне исполнилось десять лет, передо мною открылся вся купавинская окрестность, и какой же чудесной она оказалась!



Она не врала. Друзья набирали южные впечатления: подснежники и другие диковины, на вопрос о которых Алька фыркала: «Не знаю, растения какая-то», общительных до наглости чаек и вальжных ничейных котов, спавших на перфорированных коготками вездесущих голубей чехольных спинах машин. Они коллекционировали скользковатые мокрые причалы, пахнущее изюмом и ржаной коркой крепленое вино на каждом углу и подвяленный девичий виноград на жилистых лозах, прижимавшихся к неожиданно не кирпичным, как на материке, а каменным домам. А Алька считала часы до отъезда, вяло бодалась с теткой и пряталась от знакомых. Ей ни с кем не хотелось встретиться, чтобы не выслушивать очередное «Ничего не добился, да и не очень старался». Потому что ее история звучала бы точно так же. Разве что с особым столичным выговором.

Не слишком ранним утром, часов за пять до отъезда, Алька вышла из подъезда дома, в котором выросла, прислонилась лбом к холодной решетке и закрыла глаза. Вот и все: от бабушки Альке осталась пара кулинарных книг – под эгидой Микояна и в редакции Кенгиса, конечно. От самой Альки скоро здесь останется только пара подписей в бумагах и забытый шарф под теткой банкеткой – возвращаться за ним не хотелось, хотя Алька его любила и считала, что старенький ноу-нейм, купленный в питерском переходе лет 15 назад, приносит удачу и якорит дзен. Но теперь Альке удача и дзен были не нужны – свобода!

Алька приготовилась длинно и с наслаждением выдохнуть, как после йоги, но подавилась вдохом, когда на ее плечо опустилась тяжелая рука, а в ухо посыпалось непередаваемо южное, гладкое и округлое, как обкатанное морской водой стеклышко:

– Ты ба! Александра! Прилетела и не сообщила! А я зна-а-а-ал! Я чувствовал приближение, я слышал цокот твоего серебряного копытца – сердце не обманешь. Идем, идем же, душа моя, будем вкушать молодые кислые вина и разговаривать за жизнь!

Никакие вина они, конечно, не стали вкушать. Почему-то застрявший в Алькиной жизни бывший муж ее соседки-одноклассницы (господи, да все здесь друг другу соседи!), приятель Игорек поволок Альку в нестерпимо новое хипстерское и по-утреннему пустотелое заведение, построенное на месте, где раньше десятками лет стоял двухэтажный общественный туалет. Оттаявшая

после встречи с теткой и предвкушавшая скорое отбытие Алька с веселым восторгом читала вслух перечень рафов и бамблов. В промежутках она резвилась, интересуясь, почему не привязали нейминг к истории – могли бы привлечь автотонов постарше: они бы оценили остроумный и бережный подход к краеведению. Двухметровый грузный Игорек всем своим конопатым лепреконским лицом и даже немного ушами, покрытыми имбирным пушком, ласково улыбался напуганному Алькой бариста. Дождавшись, когда та иссякнет, Игорек заказал два латте без всего – Альке, американо себе и по эклеру им обоим. А затем усадил Альку лицом к окну за стол, почему-то состоящий из круглой, чуть вдавленной в центре пластиковой столешницы и нижней части старинной швейной машинки с ножным приводом.

Алька, выпив практически залпом первый кофе и приготовившись тянуть по глотку второй, в очередной раз дежурно удивилась, как хорошо Игорек знал ее привычки. А он попросил бариста «притушить ностальгию» (утреннее радио положительно разливалось в зал хитами начала 2000-х) и, подперев небритую щеку пролетарским кулаком, приготовился ее слушать.

И она рассказала: о внезапном приезде и о том, как не дали попрощаться с бабушкиным домом, как тихонько вынесла под мешковатым платьем-свитером Микояна и Кенгиса (как-как: за пояс колготок засунула, что ты ржешь!); как мечтает вернуться в любимый город и остаток выходных гулять (до опупения, до опухших лодыжек, клянись!) от Китай-города до сада имени Баумана, а по дороге заходить в каждую кафешку со странным названием, даже в шаурмячные и чебуречные; как перед этим будет ехать полторы тыщи кэмэ с друзьями (ну да, любимыми, но двое суток, Игорек, двое с гаком суток клювик к клювику!), как...

– Погоди, а чего так долго? Где-то остановитесь?

– Угу, недалеко от твоего родового гнезда. Они хотят знаменитые рельсы на пляже глянуть, не верили, как под снежники...

И вот в этом самом месте Игорек загудел, как мартовский ветер в трубу:

– Заклинаю тебя, Александра! Не ездь туда, это же Сайлент Хилл, я до знакомства с тобой тридцать семь лет молодой жизни там чалился, я знаю наверняка. А ты молодая и не знаешь. Не ездь, Александра, не ездь.

Она захохотала, а Игорь вдруг накрыл ее ладошкой своей и чуть придавил к столу. Расслаб-

– Не смей исправлять!

И Алька сделала вид, что просто так роется в рюкзаке, а не в поисках ручки. Кнопки звонка не было. В подрагивающем свете нескольких фонарей Маша попыталась сфотографировать мокнувших под мелко сеющим дождем лебедей. Илья решительно дернул дверь за ручку, и они втроем шагнули в крошечное помещение со стойкой ресепшена. За стойкой сидела неопределенного возраста корпулентная дама в ярком шелковом халате с драконами и – бабушка бы сказала «газовой» – полупрозрачной косынке, прикрывающей крупные бигуди. Дама держала на отлете огромную красную кружку в белый горошек и смотрела телевизор, висящий под потолком напротив стойки. Там, видимо, показывали что-то очень переживательное: были слышны звуки погони, выстрелы, замаскированный писк мат и женский визг. Дама неохотно перевела взгляд на Альку, Машу и Илью, вставших прямо под телевизором. Перекрикивая фильм, она раздраженно спросила:

– Вы по какому вопросу, товарищи?

Маша прыснула, Алька уже собиралась ответить в тон, но ее опередил Илья:

– Добрый вечер, мы номер бронировали до утра. Выедем часов в пять.

Дама задумчиво посмотрела на кружку, над которой поднимался плотный ароматный пар. Алька, как кролик, поводила носом и поняла вдруг, что дама пьет популярный на Алькиной родине «адмиральский чай» – заварку, разбавленную кипятком пополам с коньяком.

– Бронировали, значит? Я на самом деле просто здесь не работаю, забежала по-соседски из прокуратуры, видели белый такой красивый дом через дорогу? Я там типа сторожа по выходным. Анечка вообще позже будет, задерживается уже дня три – праздники же. А горничная не знаю где. Но давайте оформлю. На чье имя бронь? И, это, я не умею эту ихнюю машинку включать, давайте наличные.

Она со сложным выражением гладкого и вдруг неожиданно помолодевшего лица понюхала пар, поставила кружку со своей стороны стойки, поклацала компьютерной мышкой, повернулась к принтеру, распечатала какие-то бланки и протянула их Илье, определив в нем старшего. Маша и Алька наблюдали, как Илья, похожий на сенбернара-подростка, растерянно обернулся к жене, которая обычно брала на себя все коммуникации, но Маша подбадривающе кивнула ему и демонстративно отвернулась к разрывающемуся

воплями телевизору. Илья перевел вопросительный взгляд на Альку, но та уже тыкала в экран смартфона, сообщая оставшемуся в Москве мужу: «Все ок, ночуем в Сайлент Хилле». Илья шумно вздохнул, тяжело облокотился на стойку и стал заполнять бумаги. Дама погладила кружку сожалющим взглядом и наконец выключила звук боевика, уставившись в компьютер:

– Так... нашла! У вас тут два номера: двухкойковый на первом этаже и однокойковый на втором. Кто куда?

Алька подняла руку:

– Я на втором.

Дама кивнула и протянула ей ключ с огромным металлическим брелоком, похожим на шишку, какими украшали столбики старых кроватей – такая, с панцирной сеткой, стояла в бабушкином доме. Алька удивленно хмыкнула – сто лет уже в гостиницах не было таких ключей, и дама ответила на невысказанный вопрос:

– Коммуниздят только вперед! Вот, придумали ноу-хау, так сказать.

Алька подумала, что такой артефакт она бы как раз и скоммуниздила бы, но благоразумно промолчала.

– А мне ключ? – Машка сжалась над Ильей и уже все быстро наполнила, пока он искал по всем карманам наличные для оплаты.

Получив стопку разномастных купюр, дама медленно пересчитала их, затем повела огромной косыночной головой и, минуя Машкину руку, протянула Илье ключ с другим брелоком, двоюродным братом Алькиного, таким же уродливым и огромным. Сканируя Илью специальным *женским*, как определила про себя Алька, взглядом, она сказала сразу всем:

– Будете уезжать, Анечка тут будет. Ну или оставите на стойке, если не сможете растолкать. Гулять уходите? Сказать, где повечерить, надо?

Ребята вразнобой поблагодарили и отказались: весь этот теплый солнечный день они то останавливались у моря, то поднимались в горы. Они разыскали тот самый пляж, где укладывались между старыми ржавыми рельсами, действительно проложенными прямо по гальке, – много фотографировались в картинных позах и смеялись, громко пели, пока Илья вел машину, и, конечно, все ужасно устали, хотя были в отличном настроении. Даже Алька, которая сегодня смотрела на нелюбимые с детства места взглядом восторженного северного туриста и они ей немного

нравились: и гулкие гроты, и галечные пляжи с полуразрушенными штормами деревянными причалами, и покатые горы, покрытые желтой пылью и полупрозрачными сухими травами, и развалины крепости, и ветряки на горизонте. Ей даже нравилась погода, начавшая стремительно портиться на подъезде к городу: задул типичный зимний ветер и зарядил ледяной даже в +13 дождь, от которого при таком ветре никакой зонт не укроет. Даже эта смешная тетка в бигуди и с остывшим алкочаем Альке нравилась. Большое дорожное приключение обернулось приятной и веселой поездкой – почти как в студенческие годы, но все было чуть иначе. Теперь можно было не ночевать в палатке на берегу, а потратить деньги на гостиницу. Пусть и такую странную. Правда, лучшую в городе. *Историческую*, как было особо выделено в карточке апартаментов в интернете. Алька тепло улыбнулась даме, махнула ребятам и завернула за угол, чтобы подняться в номер по лестнице, которая была покрыта красной дорожкой, явно притащенной из какого-то казенного заведения («Ском-му-низ-ден-ной», – преодолев пять, по числу слогов, ступеней, повторила Алька смешное слово).

В номере она позвонила мужу, рассказала, как все прошло, послушала, чем занимался он, получивший пять драгоценных дней, в течение которых можно было ностальгически сидеть с пацанами и рубиться по сетке в линейку, как когда-то, в позапрошлой жизни, перед сессиями. Алька хмыкнула, подумав, что вот так бабушка напоследок устроила им обоим хождение в юность. Затем сползала в душ, там, отчаянно зевая, переделалась в пижаму с белками-летягами и уже не помнила, как рухнула на продавленную гостиничную кровать и провалилась в сон. Ей снился Зеленый театр и концерт когда-то любимой, а потом как-то отложенной в дальний угол, вместе со старой одеждой и дневниками, певицы; муж образца того же года – с дурацким хвостиком и в дурацкой рубашке, Алька тогда еще подумала, что никогда не будет встречаться с таким обсосом, и во сне об этом помнила. Игорек тоже снился – он что-то строчил на старинном «зингере», качал лепреконовой шевелюрой в такт ножному приводу и улыбался желтыми, как у кота, глазами. А потом в Алькину дверь ударил снаряд человеческого тела, и ее безжалостно выдернуло из сна.

Анечка, которую избивал бесноватый мужик, молчала. Алька ужасно боялась, что та уже потеряла сознание или даже умерла. Поначалу Алька

думала, что уж она, Алька, точно бы не далась, точно бы отбивалась и кричала, царапалась, как кошка, и вопила, как макака, даром что серьезный тридцатипятилетний аналитик и начальник отдела. Но через несколько минут Алька поняла, что сидит в своем углу между стенкой и радиатором мокрая, как мышь, и окаменевшая, как горгулья. И даже в полицию не позвонила, хотя дверь вот-вот сдастся, как сдалась неведомая Анечка. Как уже сдалась Алька. Как сдалась и тихо ушла бабушка год назад – вслед за дедушкой, не выдержав этой поганой одинокой жизни. А ведь бабушка никогда не сдавалась. И бабушка бы знала, на какой они улице и как звонить в полицию в чужом городе. Да бабушка не поперлась бы ни в какое Большое дорожное путешествие.

За дверью послышались женские голоса – удивившаяся в неистовое жаление себя Алька не заметила, как кто-то подошел к ее номеру.

– Ментам не звони, не надо, она сама виновата: керогазила где-то с тридцатого, на работу почти не выходила, надеялась, что он не заметит, что ли?

Второй голос принадлежал давешней даме с ресепшена:

– Да это понятно, но он дверь попортил вон и шкаф коридорный сломал: порча имущества как есть. На Анечку повесят. Куда он ее повез, не знаешь?

– Хэээ, куда. Не в сосны же – он же на УДО. Да че Анечку, вон москалики пусть заплатят утром. Скажем обе, что видели, как бухие в жопу вернулись, Артурик подтвердит, что у него весь вечер догонялись.

Алька от возмущения снова распрямылась, больно ударила локтем о радиатор и, зажмурившись от резкой боли, села обратно, а тетки продолжали:

– ...Анечка так делала, когда он в ее смену приходил и буйствовал. Туристы ни хрена не помнили и платили. А командированные не связывались, чо им. Не пропусти их утром только. Слышь? Я тут пока уберусь, вон кровищи на стекло, бляха-муха, опять ковролин уделала, лучше б блевала, ей-богу.

Голоса удалились. Переполненная возмущением Алька, потирая ушибленный локоть, пересела на кровать и начала думать тяжелую и какую-то пыльную, как портьера в ее номере, мысль о том, почему молчала Анечка, почему «керогазила» и не уходила от мужика, который мог отвезти ее в «сосны». Еще от Игорька Алька давно слышала

местную байку о том, что в узенькой хвойной лесополосе за городом в 90-е корни деревьев прорастали через криминальные трупы, буквально слоями прикопанные в худую насыпь земли с материка: на своей, пропитанной кровью и напигованной осколками, с войны еще ничего не росло. Потом Алька думала о матери, которая тоже вот так «корогазила», а потом лежала с отбитыми почками, и о ее двоюродной сестре, живущей в материнской квартире с их одним на двоих мужем – отцом Алька не называла его лет с десяти, на похороны так и не приехала, впрочем, как и на материны. Алька думала и о том, что было бы с ней, не заведи ее к себе бабушка и не вытолкни буквально в спину из дома в московскую учебу. Алька тогда долго обижалась. Потом перестала, конечно.

Отброшенный в сторону телефон некоторое время вжикал, затем затих. А Алька все сидела и думала часов до пяти, потом встала, натянула пуховик прямо на пижаму, сунула скомканные свитер и джинсы в рюкзак, а ноги в ботинки и спустилась по лестнице, которая, казалось, в общей обшарпанности ничуть не изменилась с ночи. Внизу стояла Маша и по-птичьи таранилась красными от недосыпа и перепуга глазами, Илья был собран и невозмутим. Маша, наоборот, повозмущалась, что Алька не писала в чат, потом страшным шепотом сообщила, что проспавший ночное происшествие муж ей не верил, пока не увидел в углу ведро с розовой пеной, а около него – тряпку с пятнами крови, вроде женскую блузку с фестонами.

Кроме них, в гостинице, кажется, никого не было. Они постояли некоторое время, затем Илья хмыкнул и сказал:

– Ну че, идем?

Прикрыв за собой дверь (листа с надписью уже не было), они вышли в промозглое утро, пересекли дворик и увидели, что чугунные ворота, за которыми на улице стояла их машина, заперты – на них висела массивная цепь с замкнутым амбарным замком. Алька вспомнила ночной разговор бигудевой дамы и вернувшейся горничной.

– Ребят, это они нас заперли, чтобы мы ущерб оплатили. Я слышала ночью.

Маша по-детски охнула и прикрыла рот ладошкой. Немногословный Илья снова хмыкнул, развернулся и пошел внутрь двора. Вернулся он с внушительной связкой разнобойных ключей, четвертый или пятый подошел к замку. Илья выпустил Машу и Альку, вышел сам, а затем запер ворота изнутри,

бросив связку на землю со стороны двора. Маша приглушенно спросила:

– Дурак! А отпечатки стереть?

– Сама дурак, – беззлобно отозвался муж, – а в номере и холле ты их стерла? То-то же. Садитесь в машину, и поехали уже. А то прокуратура напротив вон. А там... типа сторож.

Они уже сидели в салоне. Илья разогревал старенький «Форд» по имени Михаил, которому требовалось время на раздумья, когда Алька вдруг вытащила из кармана на сиденье забытый после новогодней ночи здоровенный картонный цилиндр, обернутый фольгой, и, пробормотав: «Мне надо, я ща!», выскочила из машины. Снаружи она дернула за шпагат в доньшке хлопушки, и, кажется, вздрогнула вся сонная пустая улица вместе с белым ребристым зданием прокуратуры и самой исторической гостиницей в городе. Под Машины вопли Алька юркнула в салон, и Михаил вдруг рванул с места так резво, как никогда в его железной жизни. Потянулся ртутный зимний дождь, который прекратился лишь за городом, когда они проезжали мимо «сосен», и Альке все казалось, что она видела перекопанную землю под одним из деревьев.



ЧАЙ С ВАТРУШКАМИ



ОЛЬГА РЫБАНОВА
30 лет. Родилась в г. Петро-
заводске. Окончила Южно-
Уральский государственный
университет (г. Челябинск).
С 2014 по 2016 год жила
в ЮАР (г. Нейптаун). Сейчас
живет и работает в г. Намен-

сне-Уральском, Свердлов-
ская область.
Публикации: книга
«100 памятных мест Намен-
сна-Уральского», литератур-
но-художественный альманах
«Чаша круговая» (2022),
газета «Наменский рабочий».

Работает в таких жанрах,
как реализм, фантастика,
фэнтези, сказки, мифы
и легенды, публицистика.
Участник литобъединения
Наменсна-Уральского,
руководитель секции
«Проза».

Лена приезжает к деду редко. Про себя она это называет – выполнить долг. В этой поездке ей все не нравится: дряхлый районный автобус, пыльный городок, где замерло время, заедающий замок в дверях дедовой квартиры. Замок всегда становится последней каплей.

Сегодня Лене везет. Всего минута-другая сдавленных ругательств себе под нос – ключ щелкает в замке. Лена проходит в тесную прихожую. Прямо по курсу большая комната. Лена знает, если остановиться в дверном проеме, то с левой стороны окажется диван, застеленный синим пледом, а с правой – второй диван, на котором сидит дед. Напротив – старомодный сервант, платяной шкаф. В углу – телевизор на тумбочке и рядом стул. Обстановка бедная, если не сказать убогая. Не потому что денег нет, просто деду все равно.

Лена заходит в комнату. На улице тепло – весна. Дед сидит на диване в зеленой футболке, поверх футболки – линялая порывевшая фуфайка. Руки сложил на колени, смотрит в стену. На звук шагов оборачивается нехотя, неуверенно.

– Здравствуй, дедушка, – говорит Лена и садится рядом.
– Здравствуй, здравствуй, – отзывается дед и прикладывает ладонь к уху рупором. – Ты кто? Татьяна?

– Нет, я Лена, – говорит Лена.
– Какая Лена? – уточняет дед.
– Такая Лена, – бурчит внучка, но дед ждет ответа, так что говорит громче: – Степана Лена. Как у тебя дела?
– Как сажа бела, – посмеивается дед. Какие у него могут быть дела в самом деле? Добавляет: – Голова только болит. Ничего не помогает. Не варит котелок.
– Фастум-гель, – бормочет Лена, но не повторяет. У деда всегда болит голова.

«А у кого не болит, вот у кого не болит? – риторически вопрошает на этом месте ее мать, побывав в гостях у свекра. – В девяносто лет хоть что-то должно болеть!»

Лена встает, идет к тумбочке, смотрит таблетки. Перед ней начатая бумажная пачка анальгина, половина от пачки цитрамона, целый парацетамол, блестящий спазган, зеленоватая пачка «угля». В выемке тумбочки поблескивает темным стеклом бутылочка корвалола.

– С глазами плохо стало, – продолжает сетовать дед. – Ты знаешь, что моя болезнь не лечится? Врач посмотрел и рукой махнул: сразу инвалидность! Первую группу!
– Ага, – поддерживает Лена, возвращаясь на диван. Ей хочется достать телефон, но у нее есть правило: приехала к деду – сиди с дедом. Она

повторяет себе, как мантру, год из года: дедушка старенький. Дедушки скоро может не стать. Ты пожалеешь, если сейчас его не слушаешь. Лена старается, правда очень старается его слушать, хоть деда Якова и «заело» последние несколько лет на одной пластинке.

- Слышу плохо, – напоминает дед, кивая сам себе седой головой. – Совсем, Лена, плохо слышу. Ты сказала чего?
- Нет, – откликается Лена громче.

Лена вспоминает, как лет семь назад они привезли деду слуховой аппарат. Выбирали хороший, подороже, чтобы дед наконец смог их слышать. Лена очень радовалась. Ей казалось, что вот их нестыковки с дедом и разрешатся сразу. Его можно будет расспрашивать, а он в свою очередь будет отвечать по делу, и всем станет легко, всем станет удобно. Не задалось. Аппарат был маленький, батарейка – еще меньше. Пальцы у деда большие, неловкие. «Дайте, я сам, сам», – кричал он на них, не разрешал помочь, показать. Отец Лены, Степан Яковлевич, кричал на деда в ответ: «Куда ты сам? Ну куда?» В конце концов, конечно, махнули рукой. Сам так сам. Первое время дед пытался использовать аппарат, когда приезжали гости, но настроить его так и не смог, думал – не работает, сердился. В конце концов забросил механизм куда-то далеко.

«Хочет, чтобы все вокруг него сидели, – говорит об этом происшествии мама. – Чтобы с ним и про него разговаривали. А не получится так уже. Это в деревню мы только к нему приезжали. Здесь-то долго не просидишь».

Лена с мамой согласна. Как можно сравнить веселый деревенский дом – темно-зеленый, с желтыми рамками окон, с двумя печками: русской и голландкой, дом с волшебным садом и плантацией-огородом, с малинником и большим пристроенным... как можно сравнить его с этой стилой квартирой, где от силы пара метров от стенки до стенки? Когда дом продали, у Лены было чувство, что кто-то равнодушный и чужой забрал ее детство. С той поры, когда она сильно устает или расстраивается, ей снится разоренный пустой дом, в котором то селятся цыгане, то занимается пожар. Бывают сны, где она заходит на заросший травой двор, поднимается по скрипучему крыльцу и идет в темные сени – там носятся легкие призраки прошедших дней.

Деда уговаривали остаться в деревне всей семьей. Говорили, что будут звонить каждый день,

приезжать каждую неделю, говорили, что город... город – это другое место с другой жизнью. Дед никого не слушал. Однажды он просто собрал вещи, позвонил и сказал: «Забирайте меня, я готов».

«Я не мог иначе, ты понимаешь? – говорил он потом, беспокойно глядя на нее своими слепыми глазами. – Сан Иваныч взял и помер, и нашли его через неделю. Я подумал: а вдруг я не смогу встать и меня тоже найдут через неделю? Вы приедете, а я... ведь никто же не хватится, не ходит ко мне никто».

«А теперь, дедушка? Кто к тебе ходит теперь?» – с тоской думает Лена, поглядывая на стрелку часов. Раз в три дня к деду приходит соцработник – Татьяна. Она готовит, прибирает в квартире, выводит деда гулять. Каждое утро дядя Ваня – грузный, с трудом ходящий, привозит ему свежую половинку хлеба, пару булочек с повидлом, круглые шаньги с белым кружком творога посередине.

Лена переводит взгляда на деда. Ей кажется, что от него осталась только тень прежнего – сильного, громкого ее деда Якова. Он не похудел, но как будто бы стал меньше ростом. Только брови такие же – кустистые, жесткие, словно вставшие дыбом.

– Лена, а ведь Иван пенсию-то у меня забрал, – вспоминает дед. – Ничего мне не дает, даже в магазин сходить не могу. Говорит, на карточку приходит... какую карточку? Где эта карточка? Тебе даже дать ничего не смогу... на конфетки... погоди-ка.

Дед начинает суетиться. Не обращая внимания на Ленины протесты, он встает и идет к шкафу, где на плечиках висит полосатый серый пиджак, а на полках перемешаны в беспорядке футболки, гамаша, носки. Дед проверяет в карманах пиджака, смотрит на полках.

- Деда, не надо, не надо, деда, – повторяет и повторяет Лена беспомощно.
- Вот, бери, на конфетки, – наконец говорит дед и протягивает ей 50 рублей.

Лена обреченно берет бумажку. Дед возвращается на место.

– Обидно, – продолжает он свою мысль. Говорит с некоторым оживлением. – Попросил бы, я бы дал. Зачем отбирать? Я ж на похороны себе откладывал, чтобы вы не волновались лишней раз. Да и ты вот приедешь или Валенька когда приедет. У Валеньки как дочку-то зовут?

- Арина, – отзывается Лена.
- Марина? – переспрашивает дед.

В деревне ведь как заведено, если постоянного пастуха нет, то стадо пасут по очереди те дома, в которых есть коровы. Одна буренка – день пасти, две – два дня, и так далее. Поднимались рано, чуть свет, и уходили на весь день на пастбища.

- Арина.
- Карина? Тыфу ты, пропасть, не слышу.
- Арина, Арина, – повторяет Лена, стараясь не слишком повышать голос.

Она не любит кричать, да и у нее давно нет уверенности, что даже если она закричит, то дедушка ее услышит.

В конце концов дед машет рукой. Переходит на другую тему.

- Сколько времени?
- Час доходит. Час, час! – Лена сама себе напоминает эхо.
- Есть пора, – отмечает дед и поднимается с дивана.

Лена идет за ним на крохотную – четыре квадрата – кухню. Дед садится на стул, а она достает из холодильника тяжелую кастрюлю – Татьяна варит сразу много. Лена наливает суп в глубокую тарелку с синим ободком. Пока суп греется в микроволновке, она режет хлеб. В хлебнице, как всегда, завал плюшек, которые дед не успевает есть.

«А квартира? – риторически вопрошает дядя Ваня, когда слышит, что дед снова жаловался на него. – Он думает, квартира даром обходится! А лекарства ему? А бензин – ездю постоянно! А соцработник в конце концов? – Дядя Ваня переводит дух, добавляет тише: – Все у него на карточке, никуда не трачу. Хватит ему... на похороны».

Лена думает, что дед сердится на дядю Ваню не из-за пенсии, а больше из-за того, что сын не за-

брал жить к себе, а поселил здесь, одного, когда увез из деревни.

Она проверяет чайник, чтобы вскипятить воду. Готовит деду чай: в кружку – пакетик «Нури» с красным ярлычком, две ложки сахара, залить кипятком – и вот, чай готов.

- Ешь давай тоже, – приглашает-приказывает дед, принимаясь за суп. – Что ты не ешь?
- Не голодная, – отзывается Лена, не вдохновенная видом разваренной бледно-красной капусты, картошки, толсто наструганной моркови и куриных ножек с приставшей желтой кожей.

Она открывает хлебницу и выбирает себе не слишком залежалую булочку с повидлом. Ей бы больше хотелось ватрушку с творогом. Но шаньги – для деда. Еда – это то, к чему он еще проявляет интерес. Может быть, то, что уж точно его не расстроит.

Дед ест шумно, но аккуратно. Крошит хлеб в тарелку с супом. Запивает суп чаем. Лена тоже пьет чай.

- Деда, – говорит она и для верности хлопает его по плечу, чтобы он поднял на нее глаза. – А помнишь, как мы коров пасли?

Вопрос ей приходится повторить еще раз, и дед в конце концов слегка улыбается, кивает. За этими словами запах костра, гудение оводов, плывущий от жары воздух.

В деревне ведь как заведено, если постоянного пастуха нет, то стадо пасут по очереди те дома, в которых есть коровы. Одна буренка – день пасти, две – два дня, и так далее. Поднимались рано, чуть свет, и уходили на весь день на пастбища.

- Вы с Валькой здорово по крапиве бегали, – вспоминает он.
- Какая была крапива! – с удовольствием подхватывает Лена. – Настоящие джунгли! Жгучая, правда, зараза. А помнишь, овраг какой огромный был?
- Овраг как овраг, – отзывается дед.
- Нет, огромный был, – спорит Лена. – Речка на дне бежала с водоворотами. Помнишь? Говорят, теленок там утонул.
- Может, и утонул, – покладисто говорит дед. – За телятами только глаз да глаз. Да и за вами, покостями, тоже.
- Почему это покостями? – смеется Лена.

– То на стога залезут, то по поленице прыгают, то по грядкам бегают, то в лес усвищут без спроса, – с готовностью загибает пальцы дед, – то с велосипедов падают и руки ломают.

– Было дело, – соглашается внучка, потирая запястье.

На стене висит листовой календарь с Богородицей. Богородица выгорела от солнца, но глаза ее по-прежнему яркие, скорбные. Она смотрит наискось и чуть вниз. Лена каждый раз задается вопросом: видит ли дед этот календарь? Или для него здесь только обои? Что у него вообще за глазная болезнь? Куриная слепота, катаракта, дальнозоркость? Дед сам не сможет сказать, а у отца и дяди Вани спрашивать бесполезно. У них один ответ: старость.

– Поели, и слава богу, – бормочет дед, вытирая рот подвернувшимся полотенцем. Уходит обратно в комнату.

Лена убирает кастрюлю в холодильник, моет дедову тарелку, чашки из-под чая, протирает стол. Смотрит в окно. За окном – почти лето. В стекло стучится сирень. На залитом солнцем дворе гомонят дети. Лена возвращается к деду. Стрелка на часах подбирается к циферке «два». Скоро нужно выходить, чтобы успеть на автобус.

Лене грустно говорить деду о том, что надо прощаться. Ей больно думать, что она уедет, а он останется тут сидеть на диване смотреть в стену и молчать в бесконечной тишине.

– Дедушка, а телевизор? Телевизор смотришь? – спрашивает она, вспоминая, что в комнате есть, помимо прочего, толстый – из-за прилегающей выпуклой задней коробки – серый телевизор. В деревне он неплохо ловил «Первый канал» и «Россию». Дед любил смотреть новости, концерты – особенно концерты.

– Не, не смотрю, не робит, – говорит дед.

Лена находит в ящике тумбочки пульт, включает телевизор. Немножко с цветными помехами, но картинка есть и звук тоже.

– Работает, – говорит она.

– Не робит, – упорствует дед. – Не слышно.

– А наушники? В наушниках... наушниках! Пробовал? – терпеливо спрашивает Лена.

Год назад она привезла деду свои большие наушники. Конечно, если прибавить громкость на телевизоре, то ему станет слышно. Но... Дядя Ваня просит так не делать – соседи ругаются. Деду все равно, а объясняться приходится ему. Похожая проблема была и у Лениной семьи, когда дед Яков гостил у них. Он включал телевизор на полную – самую полную громкость, брал стул и садился рядом с телевизором, полностью довольный. «Яков Валерьевич, – огорченно говорила Ленина мама. – Делайте тише. Горшки на подоконнике прыгают от вибраций».

Немного поиска в той же тумбочке – наушники находятся. Лена вставляет провод в боковую панель телевизора, надевает их, слушает. Звук есть. Она прибавляет громкость – еще и еще, но громкости почему-то нет. Пробует покрутить провод, прижать его плотнее – ничего не получается. Лена выключает телевизор, убирает наушники обратно в тумбочку и садится обратно к деду. Берет его за руку, и он тихонько накрывает ее ладонь своей. Рука у деда жесткая, горячая, с вздувшимися голубыми венами. На его коже еще можно разглядеть бледные линии синей татуировки: «Я-К-0-В» – буквы на суставах пальцев, а на внешней поверхности запястья выбито «Не забуду мать родную». Лена вспоминает, как дед таскал ее маленькую на руках во время покоса, как качал их с сестрой на качелях, как брал с собой на молочную ферму. В Лениной памяти всегда в деревне зеленое, просвеченное солнцем лето.

– Мне пора, дедушка, – говорит Лена. – Пора. Пора. Пошла.

– Ночуй здесь, – говорит дед. – Место есть.

– Домой надо, – отказывается она. – Дела. Давай, не болей.

Лена уже начинает торопиться – времени до автобуса все меньше. Идти до вокзала не так уж далеко, но лучше прийти пораньше. Вдруг очередь? Вдруг автобус раньше подадут? Вдруг успеет на проходящий, который идет без остановок? Вдруг, вдруг...

Дед, конечно, решает ее проводить. Лена возражает, но слабо, деда трудно отговорить. Бабушка говорила про него – «поперешный», если что-то решил, то уже никого больше не слушает. Сам знает, как правильно. Дед берет свою палку из угла прихожей. Она молча ждет, пока дед найдет свои уличные тапочки. Они вместе выходят из квартиры, и Лена прикрывает дверь – не закрывает, чтобы он мог сразу зайти, а не возиться со своенравным замком. Лена берет деда под руку и помогает ему спуститься вниз ступенька за ступенькой, затем придерживает железную дверь подъезда, пропуская его вперед.

Дед берет Лену под руку. Они медленно идут по улице – вдоль сирени, вдоль детской площадки, вдоль парковки. Лена останавливается у торца дома. Дед хочет идти дальше, но она не дает.

– Ладно, дедушка, хватит, – говорит она.

– Ладно, – соглашается он. – Спасибо, спасибо, Леночка, что приехала. Попроведовала меня. Спасибо.

Лена обнимает деда на прощание. Говорит привычно: «Не болей, дедушка. Скоро приеду. Пока» – и уходит вперед. Шагов через пять она оглядывается – дед стоит на месте. Смотрит вперед. Догадался как-то, что она обернулась, и поднимает руку, машет ей. Лена снова идет вперед, потом снова оглядывается – дед все так же стоит, опираясь на длинную палку. Всякий раз, когда она уходит, у нее возникает чувство, что она бросает его. Дедушка стоит такой нелепый в своей теплой фуфайке, спортивных штанах и резиновых тапочках. Смотрит ей вслед. Она вытаскивает коробочку с беспроводными наушниками, вставляет их в уши. Говорит одними губами – пока, дедушка, и сворачивает за угол.

Яков Валерьевич долго стоит у торца своего городского дома – одно название, что дом. Перед глазами все мутно, будто бы пелена. Хотя так ведь и есть. Он давно привык ориентироваться на нечеткие очертания, на приглушенные цвета, на общий фон, а не на частности. Ходить последнее время тяжело. Да и голова не работает, как надо. Мысли путаются, мыслей почти что и не осталось. Жизни нет. Одни воспоминания о жизни.

Он осторожно разворачивается, идет обратно на всепроникающий запах сирени. Возле его дома никогда не росла сирень. Яблоня была, калина три куста, шиповник... а сирень, зачем сирень? Баловство. Он достает из штанин ключи. Руки трясутся. Прикладывает шероховатый пластиковый кругляш к панели домофона. Попадает в нужную точку раза с четвертого. Что-то начинает пищать, значит, получилось – можно открывать. Яков Валерьевич упирается одной рукой в стенку, другой тянет дверь на себя. Дверь тяжелая, но он не сдается. Он аккуратно ощупывает створку, хватается обеими руками за железный край и заходит в подъезд. Держась за поручень, поднимается по лестнице. Когда у ноги не получается на шарить новую ступеньку, понимает – дошел. Дверь в его квартиру от лестницы направо – совсем рядом. Он трогает ее рукой и понимает: не заперта. Лена – ведь это же Лена у него была сейчас? – не закрыла дверь. Нехорошо. Ваня говорит, надо закрывать. Заходит в квартиру, крутит защелку. Затем идет в комнату, опускается на диван, замирает.

Сколько времени – непонятно. Вроде как еще светло... но летом – сейчас же лето? Летом долго светло. Вроде бы ел сегодня? Значит, то был обед. Можно прилечь, вздремнуть. Последнее время сны его – это провалы в темноту. Закрываешь глаза

и исчезаешь. Но порой бывает – снятся вперемешку праздничные застолья, дети, озимые поля – неясные, размытые образы, которые толком не разглядеть, разве что почувствовать сердцем. Он ложится на диване на бок, скрещивает руки на груди и засыпает.

Яков не знает, когда просыпается. Вокруг все та же мать, полутьма. Может быть, солнце еще высоко, может быть, уже сумерки. Для него разницы нет. Он неподвижно лежит, не торопясь вставать. Неожиданно краем глаза замечает что-то странное, выступающее из темноты, белое. Садится на диване, смотрит внимательнее. Так и есть. В углу комнаты стоит Алла – жена, и видно ее так ясно, так четко, до мельчайшей морщинки у глаза. Сама она будто бы помолодевшая – не старуха, которую он выхаживал, да так и не выходил. Волосы потемнели, глаза молодые, распахнутые. На голове – белый платок в голубой цветочек, на плечах – шаль из Вологды, платье – белое, длинное, как рубашка. Не платье это, а саван – понимает Яков, хочет встать, кинуться к ней, упасть на колени.

– Аля, Аля, – шепчет он, протягивая руки. – Пришла снова. Ты же за мной пришла? Так забирай, забирай! Аля!

Жена не смотрит на него, не обращает внимания. Проходит мимо, вроде бы и близко, но не дотронуться. Исчезает. Яков закрывает глаза рукой, а когда отнимает ладонь от лица, видит – новые гости. В том же углу женщина стоит, рядом – мальчишка лет трех-четырёх. Лица знакомые, оба в белом, словно светятся.

– Милые мои, вы кто? – спрашивает ласково он.

Женщина не отвечает. Смотрит на него молча, печально. Стоит Якову моргнуть – исчезает вместе с мальчишкой.

Он шарит у подлокотника дивана, находит свою палку у стенки, кряхтя встает. Включает свет. Идет в ванную, умывается холодной водой. Раньше только во сне являлись ему дорогие усопшие, теперь стали приходиться наяву. Яков этому рад. Значит, скоро уже его время настанет, скоро они снова встретятся.

Чаще всего приходит жена. Яков чувствует, что виноват перед ней. При жизни она от него натерпелась. Только к старости стали они ладить. Аллу любили – дети, внуки. Любили ее больше, чем его. Ее бы сыновья не оставили доживать свой век в чужом городе. Это его можно увезти из родного дома и бросить, ее – нет. Алла святая, он – грешный. Так уж получилось. Яков вроде бы не хо-

чет виноватить сыновей, но иногда поднимается в душе обида. Потом отпускает.

Яков идет на кухню. Включает чайник. На самом деле дни, часы, минуты – вот это долго, а годы пролетают быстро. Когда приезжает семья, он оттаивает душой, ему становится тепло. Они на него сердятся за ответы не впопад, за жалобы, за то, что медленно ходит, не слушается, не может запомнить, что ему говорят, он на них – только радуется, что они есть. Бывает, конечно, вспылит иной раз – ну что, он на кнопку нажать не умеет? Или не знает, как ребенка держать? Но больше радуется.

Яков берет кружку, хочет налить чай, а воды – пара капель. Чайник пустой кипятился. Тьфу ты, пропасть. Он шаркает до раковины, набирает воды. Ждет, пока вскипит. Достает из хлебницы шаньгу. Жует. Алла пекла все на свете – хлеб, картонные пироги, булочки с маком, рогалики, рыбные расстегаи и шаньги с творогом. Ест он такую сдобу и думает, что это от нее молчаливый привет. Чайник наконец вскипел, можно выпить чаю. Вот и слава богу.

Яков Валерьевич возвращается на диван. Складывает руки на животе, откидывается на мягкую пружинистую спинку. Желтый электрический свет немного разгоняет сумрак в глазах. Кажется, недавно заходила Лена – может быть, даже сегодня. Вот она уехала теперь, а потом снова приедет, сядет с ним рядом и будет говорить: «Дедушка». Когда ее долго нет, он скучает. А может быть, они заглянут всей семьей. Степан будет пить возле него свой кофе – привозит с собой в термосе, Надежда обязательно что-то расскажет – ее всегда хорошо слышно, Валенька с дочкой начнут бегать по комнате, с маленькими детьми же – суета. Лена посидит с ним вместе.

Так хорошо, когда все рядом, разговаривают – пусть друг с другом, не с ним, когда пьют вместе чай, спрашивают «Как здоровье?». Так хорошо, что они есть.

Дед Яков смотрит в стену, улыбается одними невидящими глазами.

26.06.2022, Каменск-Уральский



НАВЕРХУ ВСЕГДА ХОЛОДНО

– Ну, это уже ни в какие ворота, – с возмущением сказал Максим, когда ветер сорвал с его головы фетровую мягкую шляпу.

Он провел рукой по волосам, как бы желая убедиться, что их теперь действительно ничего не покрывает, возвел глаза к небу и побежал. Невдалеке виднелся пруд, и было совсем естественно, что ему не хотелось отправляться вплавь за своим головным убором. Ветер насмешливо шумел в кронах и гнал шляпу по асфальтовой дорожке в разводах луж и ручьев.

– Стой, – кричал он шляпе, нимало не смущаясь.

Впрочем, смущаться было некого. Желающих гулять по аллее осенним вечером надо было еще поискать. Впереди, ближе к выходу на проспект, виднелась пара бродяг, устраивающихся на ночлег под желтой елью. Что же об остальных людях, так те сейчас как раз готовились смотреть вечерние новости. Макс был совсем не прочь к ним присоединиться. Но он гнался за летящей своей шляпой.

– Стой, дура!

Как будто послушавшись его сердитого оклика, шляпа замерла у края большой лужи. Ее поля слабо трепыхались. Он успел добежать до нее и схватить перед тем, как новый порыв ветра заставил шляпу пойманной птицей забиться у него в руках. Можно было подумать, что она всю свою недолгую

жизнь летала по воздуху, а не висела на крючке в прихожей.

– Ну, ну, – успокаивающе бормотал Максим, рассеянно отряхивая шляпу.

Он хотел вернуть ее на законное место – на свою голову, но задумался. Он не был уверен, что ветер вновь не захочет поиграть с ним в догонялки. Шляпа стояла, как-никак, целых тридцать два американских доллара, и купание в луже не могло пойти ей на пользу. В этом Макс мог бы биться об заклад, хотя и не был признанным специалистом по головным уборам. В конце концов он просто свернул шляпу пополам и засунул ее в глубокий карман плаща. Ветер разочарованно взвыл где-то в вышине и досадливо взъерошил его короткие темные волосы.

Макс постоял у пруда, покачался на носках взад-вперед, взад-вперед. Земля мягко пружинила под ногами, заставляя каблук новых туфель все глубже увязать в ней. Береза сбрасывала на его плечи зелено-желтые легкие листья. Те скатывались по коричневой коже плаща с еле слышным шорохом. Макс смотрел на воду и видел, что та серая и спокойная: приготовилась замерзнуть. В камышах копошились последние утки. Очевидно, что подниматься на крыло они решили завтра, с утрачка, когда рассвет так неоднозначно романтичен и прекрасен. Он мог их понять.

Дело сделано. Милость оказана. Можно прятать руки в перчатки, затем в карманы и шагать дальше, думая, зачтется ли этот день на Страшном суде. Вдруг именно это впопыхах оказанное добро склонит чашу весов в нашу пользу, ну вдруг, а?

Он сам не терпел куда-то ехать второпях, на ночь глядя.

– Огонька не найдется? – банально спросили его со спины.

Макс медленно и торжественно развернулся, ожидая увидеть запоздалого уставшего бомжа, прячущего мерзнувшее лицо в облезший воротник из собачьей шерсти.

– Не курю, – успел сказать он нравоучительным голосом, в котором заранее слышался упрек, который могут позволить себе благополучные, приличные люди, когда к ним обращаются на улице другие их собратья.

Обычно они еще добавляют этакий взгляд свысока – слегка презрительный и жалостливый – и долго гремят мелочью, выбирая на ощупь монеты. Замерзшие пальцы тщетно ловят в глубоких карманах обрывки автобусных билетов, поломанные спички, что-то шуршашее (мятные конфеты, обертка от сигарет, жвачка?), пока человек напротив мнетса и отводит полупьяный и бессмысленно-просящий взгляд. Наконец под руку попадают скользкие железные кругляши – то ли рубли, то ли копейки, и можно уронить их в сухую обмороженную ладонь, подставленную ковшиком. На что эти деньги? На дешевую водку, на настойку в аптеке или все-таки на хлеб? Не важно. Дело сделано. Милость оказана. Можно прятать руки в перчатки, затем в карманы и шагать дальше, думая, зачтется ли этот день на Страшном суде. Вдруг именно это впопыхах ока-

занное добро склонит чашу весов в нашу пользу, ну вдруг, а?

Макс подумал об этом всем быстро. Секунды четыре, пока разворачивался. Он даже успел вспомнить, что в его карманах совершенно ничего нет, потому что жена вчера устроила там ревизию. В результате этой проверки вся мелочь оказалась в специальном, для этого предназначенном, отделении бумажника (бумажник очень удивился и сразу распух), зажигалка была признана негодной, обертки от конфет ненужными, а крошки от забытого бисквита вовсе ужасными.

– Правда? – ехидно спросил незнакомец, поглядев на его ухо.

Максим поднял руку и обнаружил забытую папиросу, заложенную за отворот ушной раковины. Он хотел воспользоваться ей еще в обед, но случилось так, что не удалось даже встать из-за рабочего стола, не то что выйти на перекур.

– Вот черт, – засмеялся он, ничуть не смутившись, что его так легко поймали на слове.

Парень захохотал в ответ. Лицо его было приятным и худым – с высоким лбом, высокими скулами, тонкими губами. Он стоял, отведя плечи назад и скрестив руки на груди. Лет двадцать семь, подумал Максим прежде, чем посмотрел ему в глаза – светло-голубые, веселые и страшные одновременно. Такие глаза бывают у стариков, когда к концу своей жизни они начинают плохо различать предметы, слепнуть. Они вроде бы смотрят прямо на тебя, но на самом деле – сквозь, взгляд этот бессмысленный, угадывающий. Так на Максима смотрел его отец. Его это невольно раздражало. Хотелось схватить старика за плечи, потрясти, закричать: ну хватит уже, хватит! Все ты видишь, я здесь. Пользы от этого не было бы ни на грош, конечно. Но мысль никак не могла уйти.

Парень смотрел на него внимательно – действительно смотрел? – будто бы угадывая все, что он думает по его враз замершему сосредоточенному лицу.

– Ты меня видишь? – невольно вырвалось у Макса.

Он сам удивился надрыву, который прозвучал в его голосе. Парень склонил вихрастую голову сначала к одному плечу, потом к другому, хрустя шеей.

– Конечно, – успокаивающе сказал он, и Макс испытал огромное облегчение и даже смог улыбнуться.

– Боже мой, как ты меня напугал, – слегка укоризненно сказал он и вытащил из-за уха сигарету. Поялся, крутя в пальцах тонкий белый

- стержень, вспомнил, что нет зажигалки. Тихо вздохнул.
- Хорошая была зажигалка? – понимающе спросил парень.
 - А то, – не удивляясь, буркнул Максим. – Импортная. Сестра вместе со шляпой привезла, как привет от Штатов.
 - Забавно, – протянул незнакомец. – Я всегда думал, что «Зиппе» – это немецкое производство.
 - Оно и есть немецкое, – охотно согласился Макс. – Только из Штатов.
 - Так немцы ближе, чем Штаты, – заметили ему в ответ.
 - Ох, – фыркнул Макс. – Мне все равно, откуда мне привозят зажигалки.
- Пару мгновений они смотрели друг на друга, синхронно вскинув брови, а затем рассмеялись вновь. Их громкий смех заставил встрепенуться уток на дальнем конце пруда. По воде звуки разносятся дальше, быстро подумал Макс. Парень вдруг глухо закашлялся, уткнувшись носом в свой поднятый локоть.
- Извини, – пробормотал он в перерыве между хриплыми лающими звуками. – Болею.
- Тут Макс внезапно понял, что на его собеседнике только белая футболка с надписью «Спасем белых тигров вместе», шорты цвета хаки до колена и яркие сине-желтые кроссовки фирмы «Найк». У Максима возникло странное ощущение, будто бы он только что вылетел откуда-то, где сейчас в разгаре лето, а не конец октября. Макс стянул с шеи шарф – спартаковский, любимый, столетний – и протянул ему.
- Не жалко? – спросил парень, слабо усмехаясь, но шарф взял, обмотал вокруг тощей шеи.
 - Нет, – сказал Макс и удивился, как легко это вышло. – Буду в столице, новый возьму.
 - Спасибо, – серьезно сказал незнакомец.
 - Пожалуйста, – кивнул Максим. – Любишь футбол?
 - Не интересуюсь.
 - Врешь, – с наслаждением сказал Макс. – Теперь интересуешься. Я тебе «красно-белый» отдал, счастливый мой. Не благодари, ряды чемпионов уже поглотили тебя.
- Парень задумчиво дернул за белые концы шарфа.
- Как я так попал, – наигранно ужаснулся он. – Жил, жил себе. И на тебе.
 - И на, – повторил Максим. – Такие дела, брат. Смирись.
 - Да уж придется!

- Как тебя называть? – с неожиданным интересом спросил Макс. – Кто ты, а?
- Лицо незнакомца приняло лукавое выражение. Он как-то насмешливо шмыгнул носом. Кто бы раньше сказал, что можно так делать.
- Я бог, – скромно сказал он со смешком с нотами кашля. – Зови меня Лешка.
 - Почему Лешка? – заинтересовался Макс, безоговорочно веря в то, что этот летний парень действительно бог, спустившийся с синеющего от наступающих сумерек неба.
- Вопросов сразу сделалось донельзя много. Донес ли его на землю этот сумасшедший ветер или он сам прыгнул с облаков? Знает ли он лично всех ангелов? Можно ли еще потянуть со сроками сдачи проекта или уже край? Когда по расписанию программа апокалипсиса? Кто убил Кеннеди? Выиграют ли наши когда-нибудь кубок ФИФА? Что дарить маме на день рождения?
- Потому что, – многозначительно ответил бог. – Тебе какая разница, ну?
 - Никакой, – пришлось признать Макс. – А огонек зачем спрашивал, если знал, что зажигалки нет?
 - Забыл, – буркнул тот. – На уток засмотрелся, курить захотелось. Смотрю – стоишь, думаю, дай спрошу. Ты поищи еще в кармане.
- Максим послушно засунул руку в карман и совсем не удивился, когда поймал там зажигалку. Вытащил ее на свет и присвистнул.
- Пластмассовая, – негодуя сказал он. – Моя была «Зиппе», ты что, забыл?
 - Ха, – коротко сказал Лешка. – Работает, и ладно. Дай прикурить.
- Он похлопал себя по карманам и вытащил помятую пачку «Мальборо блу айс».
- Ментоловые, – презрительно сказал Макс, протягивая ему трепещущий живой огонек. – Для девочек.
 - А кто узнает? – резонно заметил бог, дожидаясь, пока кончик сигареты вспыхнет алыми искорками. – Ты, что ли, скажешь? Я бы посмотрел: Маринка, а ты знаешь, что бог курит ментоловый «Мальборо» и теперь болеет за «Спартак»? Где ты пил, дорогой?
- Макс засмеялся, фыркая и прикуривая. Лешка с невозмутимым видом выпускал дымные колечки. Лицо его сделалось задумчивым, будто бы он решал в уме сложнейшую математическую задачу с интегралами. По искреннему мнению Макса, интегралы были худшим изобретением всей человеческой науки. Ну, еще, быть может, тригоно-

Он ждал, что бог
обернется, посмотрит
этим самым слепым,
но всевидящим взглядом,
улыбнется, что ли.
Но Лешка даже не повернул
головы.

метрия. Хотя и то и другое давно им уже прочно позабылось.

– Эй, – позвал Максим тихо. – А ты где живешь-то, бог Лешка?

Парень усмехнулся краем губ. Он заложил руки в карманы и дернул подбородком вправо.

– Там, – сказал он, развернувшись. – На горе. Ты знаешь, Макс, наверху всегда ветрено. Я постоянно простывший. Иной раз кажется – уж лучше бы сердце болело вместо горла, а потом – уж лучше все-таки горло.

– А вниз зачем? – спросил Макс и подался вперед немного, боясь отчего-то, что может его не услышать.

Вершина горы виднелась на другом конце города, как будто рисованный черный треугольник на темно-синем фоне. Она не была высокой, но подъем казался слишком трудоемким для любителей, а для местных альпинистов не хватало интереса. Многие из них гнали сутками до Алтая, а там уж отводили душу, как полагается. Кто бы сказал им, что на Чертовом персте обитает самый настоящий замерзающий бог.

– Греться, – ответил Лешка совершенно просто. – Я же не бог-Бог. Я так. Местный, надо заметить, погодный. Тучи собираю, их же рассеиваю. Радуги налаживаю, дождь распределяю где, ливень куда. На перекур иногда сюда сбегая, и ветер за мной, зараза такая. Не сидится ему в одиночестве.

– Он у меня шляпу сейчас чуть в пруд не загнал, – тут же пожаловался Макс.

– Ну что ж теперь, – философски пожал плечами бог. – Не загнал ведь. А и загнал бы, то что? Максим...

– А?

– Я не знаю, кто убил Кеннеди.

– Да ну тебя.

Лешка выплюнул сигарету, придавил ее пятой. Он подошел к каемке пруда, выложенной булыжниками, сел на землю, глядя куда-то в серую воду. Его белая футболка ярко выделялась в сгущающихся сумерках. Цвета вокруг становились размытыми и неявными, скрадывались полутонами. Вечер бросал на все свою блеклую шаль.

– Тигров любишь? – спросил Макс, потому что хотелось сказать еще хоть что-то.

Он ждал, что бог обернется, посмотрит этим самым слепым, но всевидящим взглядом, улыбнется, что ли. Но Лешка даже не повернул головы.

– Не видел ни одного, – равнодушно сказал он. – Кровь сдавал, дали футболку. «Почетный донор» закончился, сказали – с тигром пойдет? Пойдет, говорю. Почему не пойдет...

– У тебя и кровь есть? – удивился Максим.

– Третья отрицательная, – подтвердил бог. Похлопал рядом с собой по земле. – Садись. Сухо.

Чувствуя себя немного неловко – он не мог сразу припомнить, когда последний раз сидел на земле, – Макс сел. На другой стороне пруда, в окнах домов, начали загораться окна. Лешка улыбнулся.

– Иногда думаю, – сказал он, – что тысячу лет на свет могу так смотреть. Тепло от него. Горло перестает. С горы, конечно, лучше видно, но это уже не то.

Макс повернул голову, посмотрел на него. Лешка крутил в пальцах новую сигарету. Он протянул ему зажигалку. Черт возьми, с внезапной тревогой и жалостью, подумал Максим, он же один там на горе. Никого, кроме него и ветра. Сколько лет он так спускается по вечерам, сидит здесь, курит, смотрит на окна. Подхватывается потом, наверное, за полночь, исчезает.

В его нагрудном кармане зазвонил телефон.

– Извини, – сказал Макс, пытаясь сквозь плащ нажать на «отбой».

– Ответь, – сказал Лешка, стряхивая пепел на землю. – Беспокойся.

Макс достал мобильник.

– Да, – сказал он в трубку. – Все в порядке, скоро буду. Что? Да открыт, наверное. Хорошо, хорошо. Запомнил. Да, точно запомнил. Давай, целую.

Он отнял трубку от уха, посмотрел на время.

– Новости закончились, – отметил бог. – Но через час будут еще одни, успеваешь. Дождя за-

втра не будет, не верь. Просто низкая облачность, или как там говорят?

Максим с досадой взъерошил волосы.

- Ты долго тут будешь еще? – спросил он, поднимаясь.
- Минут пятнадцать, – ответил Лешка, покашляя в кулак. – Наши «ФИФА» не выигрывают никогда. Но это лично мое мнение. Кто-то повыше может иначе рассуждать. С проектом не тяните, но это тоже я думаю. Делов-то там осталось на пару часов. Я зажигалку себе оставлю, ладно?
- Да оставляй, конечно, – пробормотал Макс. – Твоя же зажигалка.
- Спасибо, – серьезно сказал парень. – Приятно было пообщаться. За шарф спасибо тоже.
- Не болей, – отозвался Макс и сделал пару шагов к дорожке.

Остановился, оглянулся. Он посмотрел, думая, что, может, никого там уже и нет. Но бог сидел там же, прищелкивал зажигалкой. Раз – огонек, два – погас. Раз – ты есть, два – тебя уже не стало.

– Лешка, – позвал он негромко.

Бог чуть повернул свой острый профиль, прислушиваясь.

– А пошли в бар в субботу, – предложил Макс. – Игра будет.

Лешка молчал минуту, не меньше. Он уже успел подумать, что бог ему не ответит. Какая игра, какой бар, Максим, скажет его взгляд. Сейчас ты уйдешь, через час дома подумаешь, что общался со сбежавшим психом, через два тихо пожалеешь, что отдал шарф, через три ляжешь спать. А маме подари лилии, пока еще веришь мне.

- Пошли, – сказал Лешка. – В «Медведя». Там кофе хороший.
 - Шарф не забудь, – командным тоном заявил Макс. – А то еще подумают, что ты из этих.
- Бог тихо рассмеялся.
- Не забуду.
 - До субботы, – решительно сказал Макс. – Бывай.
 - Пока.

Макс шел по аллее и чувствовал, как у него замерзли уши. Не простыть бы, озабоченно подумал он, а то будем еще чихать на пару. Надо взять ему сироп от кашля и гирлянду из фонариков елочную на батарейках. Пусть обмотает ею какую-нибудь сосну и повесит себе там, на горе, раз уж от одного света ему теплее становится. Хотя, может быть, дело не только в свете. Определенно, нет. Точнее, не в нем одном.

12.02.2015, Кейптаун

LETTERE



АНАСТАСИЯ ФОНАРЕВА

Я росла в окружении книг. У бабушки была большая библиотека. Теперь я с наслаждением и интересом выбираю, ищу, почитаю и читаю книги. А еще я собираю свои истории:

веду дневники, записываю ситуации и интересные слова. Несколько лет я обдумывала, как эти тексты преобразовать в рассказы. Муж показал мне рекламу BAND. И полтора года назад я решила на курс «Магиче-

ский сюжет», а в 2022 году прошла один за другим «Нан писать нон-финшен», «Современный рассказ», «Голос тенста» и «Искусство истории». И вот он, мой первый напечатанный рассказ.

За окном на карнизе гордая птица. Смотрит в кухню и совершенно без сомнений – хозяину прямо в глаза. Космическая глубина на миг захватила в свое поле. Птица исчезла. Осталось пугающее тревожное чувство.

– Basta così, – говорит он себе.

У него сегодня две лекции. Это после обеда.

Сперва – на почту.

Научные журналы, брошюры, пособия Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера он получает почти сорок лет. Бандероли, правда, приходят неровно. Самый большой перерыв был двадцать пять месяцев. В последние годы – восемь.

Отправитель, его друг, сотрудник НИИ, отбирает издания с учетом поставленного условия – это должны быть работы Татьяны Токмаковой.

Токмакова Т. – Ты.

Танечка.

Я получаю тексты, созданные Тобой. Я люблю буквы – Ты писала. Может, вначале на бумаге, думая над каждым словом. Проверяла опытами и складывала в предложения.

Я читаю, как ты дышишь.

Я работаю – ты есть.

Я сплю – ты есть.

Я живу – ты живешь, ты есть.

Я слышу твой голос, смех. Слово мы снова

в Ленинграде. В твоей комнате, с окном в тупиковый Угловой переулок, а на стеклах – бумажные птицы, кажется, ласточки.

Луч-проньера заглядывает в вазочку с вареньем.

– Мм... интересное. Не пойму, из какой ягоды? Кислое и сладкое одновременно.

– Это морошка. – Ты довольно улыбаешься, мол, удивила.

– Морошица. – Теперь улыбаюсь я.

– Далеко в лесах Забайкалья растет. Бабушка моя собирала, – говоришь с умным видом – будущий микробиолог. И забираешься с ногами на стул.

– Далеко, говоришь...

– Дальше некуда: поселок, в котором она живет, называется Тупик, микрорайон Тополек.

Несколько лет спустя хит восьмидесятых «Ten o'clock postman, bring me her letter» я пел не иначе, как «Гив ми холера». Приговаривал, что это как раз по ее, Таниной, части.

Ты все смеешься, подшучиваешь.

Я напеваю вместо ответа: «Гив ми холера».

Мы вместе и долго, и не очень, но мне непонятно, всерьез ли? Я уже не студентка и аспирантура позади. Я сотрудник НИИ.

Тише, Танечка, не плачь.

Ты посмотрела на меня – и:

– Дима позвал меня замуж.

Видел Тебя. Ты легкая,
светлая, шла с девочкой –
косынка с кружевом
надо лбом, треугольное
платье. Свет жег. Особенно
от девчонки.

- А ты?
- Я?
Молчишь и смотришь, и все же:
- А ты?
- При чем тут я?
- А ты позовешь меня замуж?
Я засмеялся. Похохатывая, ушел.
Еще чего. Я не навязывался. Мало ли таких
Тань.

Больше в квартире с птицами не был.

Когда я проходил в районе Фрунзенской (по-на-
шему Хрумзенской), поглядывал на окна. Первое
время видел ласточек, потом их не стало.

Видел Тебя. Ты легкая, светлая, шла с девоч-
кой – косынка с кружевом надо лбом, треугольное
платье. Свет жег. Особенно от девчонки.

Мало? Таких нет. Других не надо.

Я не вернулся обратно после гастролей с теа-
тром в Риме. Здесь я получаю твои работы. В авто-
мобиле на парковке перед театральной академи-
ей открываю посылку. Переворачиваю страницы.
Смотрю на слова.

Его взгляд безуспешно ловит то, чего не дол-
жно быть. Ускользает, расплывается. Стало душ-
но. Чуть ослабил галстук. Вышел. Остановился:
Токмакова Т. в черной рамке.



ЗДЕСЬ ТОЖЕ ВОДЯТСЯ ТИГРЫ



—
ЕЛИЗАВЕТА МАМОНТОВА
Родилась в 2008 году. Писательница и поэтесса. Всю жизнь прожила в Москве. Училась в школе писательского и сценарного мастерства BAND.

Мысль написать автопортрет пришла к нему из глубины влажных ночей, когда луна отблескивает зеленым и Неву покрывает льдистый налет.

Он лежал на кровати. Полутьма баюкала его в шершавых ладонях, и это мерное покачивание располагало к воспоминаниям. Он глядел на внутреннюю сторону век и думал о матери, перебирая, как четки, события детства.

Он почти уснул, как вдруг что-то просочилось сквозь кожу и чиркнуло по сетчатке. Он открыл глаза и увидел последние капли желтого луча, скользящего по потолку. И, проводив взглядом свет неизвестной машины, он почувствовал странное томление и тяжесть где-то под ребрами – это было похоже на подступающую тошноту. Он повернулся к стене и закрыл глаза кожей, чтобы уснуть, но сон не шел, а в самом низу грудной клетки взбухал какой-то горячий ком. Он прижал ладонь к груди – и кончиками пальцев ощутил быстрое биение сердца, расходящееся по костям. Он резко сел. От лица отхлынула кровь. Ему стало тяжело дышать, как будто воздух сделался гуще. Он перестал ощущать присутствие матери и понял: спокойствие покинуло его – потому что теплая опухоль была приступом мучительного вдохновения.

Он включил везде свет, открыл двери и завесил окна, создав освещенный вакуум посреди темно-

ты. Ночь была только в начале, времени ему хватало, поэтому он не тревожился.

Это было подобно лихорадке. Быстрыми, почти беспорядочными штрихами он наносил на пустоту листа свой череп, ось позвоночника, тазовые кости. Из хаоса металлических линий проступал каркас человека: для сверки пропорций он обходился ошупью.

К окончанию ночи, когда подтаявшая луна пошла на скат, он измарал стопку листов собственным несовершенством. Он не продвинулся дальше остова, потому что внезапно осознал, что увечен. А сидеть ему было уже трудно.

К пяти часам он проковылял из спальни в кабинет, лег на пол и позвонил.

На другом конце провода зазвучал подсушенный сном голос:

– Левин Давид Искандерович слушает...

– Ты сейчас не занят?

Повисло молчание. Он очень хорошо мог представить, как Давид дышит, перебирая в памяти знакомых. Давид еще ни разу не узнал его по голосу.

– Кто...

– Давид, это я, Немовецкий. Можно я приду?

На другом конце провода Давид сморгнул удивление и улыбнулся.

– А, Серый, ты, что ли? Номер опять поменял?

А что у тебя с голосом, звучишь как умирающий, ты приболел?

- Все в порядке. Можно зайду?
- Конечно!
- Буду где-то через полчаса.
- Ага. Ключи у тебя есть вроде, дверь откроешь.

Он нажал на отбой. Висела прозрачная тишина рассвета, такая легкая, что он слышал рост собственных волос.

Он двигался с трудом, стараясь не потревожить опухоль, давящую на органы. Он знал, что боль не утолить лекарством, потому что она только фантазия, отголосок подлинных ощущений. Ведь в сущности все, что он создавал и создаст когда-нибудь, обречено быть сублимацией древнего, как род человеческий, страха смерти. А опухоль – лишь то, что нельзя сразу вывести на бумагу, и оттого она будет терзать его до тех пор, пока он не закончит работы.

Он вызвал такси, запихнул в рюкзак все свои наброски, влез в пальто, схватил шапку и ушел, не погасив света.

Лифт не работал. Машина прибудет через семь минут, а ему предстоит минут десять спускаться.

Потолочные круглые лампы моргали, как моргает усталый человек. Ему казалось, что каждая лампа стала глазом и с пристальностью тигра-людоеда наблюдала за движениями его рук. Мать рассказывала ему о поездке в Индию: как-то в саду она почувствовала – у нее тяжелеет голова. Хотя день стоял такой жаркий, что плавилась краска на спинках скамей, страшный озноб прошел по коже. Она обернулась и увидела два золотых глаза в мясистой тени чащи. Она поспешила уйти, но еще долго хребет ей колот вязкий взгляд. На влажной глине, говорила она, поглаживая обручальное кольцо, твой папа нашел следы крупной кошки. Они уходили в необжитую глубину сада.

Когда она увидела искры тигриных глаз в сырых сплетениях баньяновых деревьев, холод ужаса обжег ее нервы так же, как сейчас мороз въедался в его нервы? Он знал – неровный свет потолочных ламп таил в себе взгляд бенгальского тигра, что когда-то пришел за его мать. И вот теперь зверь явился за ним из толщи времени: вечное, бесконечно упорное животное. Он знал – тигр в темноте, каждая вспышка позволяет ему сделать шаг. Он слышал, как подушечки лап прилипают к мокрому кафелю. Он слышал дыхание, гнилостное дыхание хищника, слышал движения желтого хвоста. Ближе, еще ближе... У него нача-

ли неметь пальцы. Вглядываясь в промежуточную темноту подъезда, он молился, чтобы сердце стучало тише, а лестничная клетка вдруг стала бы больше, но Господь не слышал его, ибо смерть Его была крепка. Тигр напряг лапы: под желтой, изрезанной тенями шкурой заходили мышцы. Лампа мигнула, и он увидел, в последней вспышке света своей жизни, широкую морду, бурый нос и подобные яшме глаза тигра – тигра, который пришел за ним из глубин веков, следуя запаху лона его матери.

Он побежал. Оскальзываясь на еще мокрых ступеньках, давясь сумеречным воздухом, он кубарем скатился с лестницы и выбежал на улицу. Приятно освещенная заснеженность двора окружила его речной водой. Он сел на ступеньку у двери, потому что стоять уже не мог, и попытался отдышаться. Из бетона холод просачивался в седалищные, а потом и в подвздошные кости. Он чувствовал, как стынет у него костный мозг. И боль – ослепительная, искристая боль, как будто в брюшную полость выплеснули стакан кипятку.

Какой-то тонкий звук вроде звона тревожил его. Только тут он сообразил, отчего тянет в висках: он не надел шапки. Уже поздно. Он провел рукой по волосам: кожа сделалась влажной.

Он встал, чувствуя, как разливается по внутренним органам не то кровь, не то лимфа.

Итак, тридцать два шага от подъезда до арки. Арка в десять шагов. А как он вернется домой? Как поднимется к себе, если это чудовище будет ждать его там, в самом затененном углу лестничной клетки?

Он сверил номер машины: то. Он забрался на заднее сиденье, потому что так в случае аварии чуть больше шансов выжить. Водитель поправил зеркальце заднего вида и спросил: до Марата 36-38? Да, да, едемте же.

Он смотрел на гладкую, как лед, дорогу, на отражение огней в жирном от слякоти асфальте, пытался привыкнуть к мерному движению автомобиля. В семь минут уместилась история одной смерти. Ну вот и приехали. Большое спасибо, хорошего дня.

Колодезное дно двора, лужица подмерзшей мочи на асфальте, бетонная клумба под тем-то окном; настоящий лабиринт, если не знать адресов, потому что все дворы схожи, но здесь по этажам не ходит тигр-людоед.

Он взошел по ступенькам, точно таким же, как и в его дворе. Домофон давно не работал, а если б и работал, он бы не позвонил, потому

Он не стал звонить. Открыл запертую на нижний замок дверь. В квартире клубился мрак, только из-под двери ванной капал на кафель коридора свет. Значит, Давид дома, потому что он никогда не оставляет свет включенным, когда уходит. Но вдруг он ошибся квартирой, или подъездом, или домом, или городом.

что Давид не переносит громких звуков. Костенеющими пальцами он искал ключи, пока кто-то не вышел, и искать больше не пришлось. Подъезд освещался. Христос с гравюры над почтовыми ящиками смотрел умиротворенно, а у него потели ладони, пока он жал на кнопку вызова лифта. Что, если тигр придет за ним? Ну же, быстрее... слава богу, здесь есть лифт.

Давид жил на шестом этаже – первая дверь по правую руку, ближе к лестнице. Номера нет.

Он не стал звонить. Открыл запертую на нижний замок дверь. В квартире клубился мрак, только из-под двери ванной капал на кафель коридора свет. Значит, Давид дома, потому что он никогда не оставляет свет включенным, когда уходит. Но вдруг он ошибся квартирой, или подъездом, или домом, или городом. Потому что позвал Давида: сначала шепотом, потом во весь голос – как встревоженный кошмаром ребенок зовет мать, – чтобы убедиться, что Давид существует.

Дверь приоткрылась, желтая полоса расширилась, и стеклянную тишину нежилого пространства наполнил шум вентиляции. Давид стоял в этом свете, грубой лепкой очертаний похожий на одну из своих безумных статуй, на Голиафа с собачьим черепом вместо головы.

«Не ори, – сказал Давид, открывая дверь. – Я слышу, как ты пришел, я б к тебе вышел. Ты рановато просто». Он прошлепал по коридору, потому что был босой, и щелкнул выключателем. Граненые плафоны рассыпали свет.

Давид был в черном халате и держал в левой руке стакан: там плавало глазное яблоко. От удивления на небе стало солоно, но он не стал ничего говорить, потому что не успел толком разглядеть лица Давида. «Ты пока иди в кухню, кипяточек поставь, вода на подоконнике, в баклажке, я щас глаз сполосну и приду», – сказал Давид. Он понял, что видит именно Давида, потому что сизый полумесяц шрама – от правого виска до левой скулы – был виден необычайно отчетливо. Давид опять скрылся в ванной, но он никуда не пошел, потому что не хотел открывать дверей и бродить по пустым комнатам, встречаясь с призраками чужого прошлого.

Он слышал, как за дверью лилась вода. Он пытался представить себе Давида, склонившегося над чашей раковины, и воду, которая текла сквозь пальцы, – ведь в руках промывают глазной протез? Он приоткрыл дверь и заглянул в ванную – синие лучи отсутствующего светильника плавались в лужице ртути, что капала с края раковины. Давид сидел на полу, как-то съездившись, беспомощно опустив руки на колени, единственным своим глазом глядел на внутреннюю сторону века, в бездну утекшего времени. Стакан с протезом опрокинулся, и круглое глазное яблоко лежало среди блестящих осколков, точно оброненный плод. Давид показался ему большой твердой куклой из воска и сала, которую творец оставил без позвоночника. Ему отчего-то стало жалко Давида, такого печального, погруженного, как в формалин, в великолепное наследственное одиночество. Он сел рядом и взял его за руку. Пальцы Давида были холодны. Как будто и вправду воск. Он окликнул его: тревога зрела где-то в гортани, давила на кольца трахеи и мешала дышать. Мертвый или живой? Ты меня слышишь?

Он потряс Давида за плечо. Тонкие, в зеленоватых прожилках веки шевельнулись, Давид открыл глаз – и тревога обратилась в плещущий ужас с желтым отблеском тигриной шкуры, ибо глаз Давида был подобен яшме, и то был глаз тигра-людоеда.

Он не успел ни вскрикнуть, ни разжать пальцев, потому что видение кончилось. Он стоял перед дверью ванной, держась за ручку, и действие лишь зарождалось в нервных узлах. Кошмар? Пророчество?

«Господи, Серый, ну вот чего ты тут стоишь, я ж сказал тебе идти, и вообще выглядишь неважно, ты б хоть в кабинете сел, куда это годится, зачем ты вообще так далеко перся, если тебе нехорошо, а?» Давид облокачивался на косяк, пустой глаз его был полуприкрыт: «Прости, я немного вот так похожу, протез сохнет», – и казался необыкновенно живым, до него даже дотрагиваться не нужно было, чтобы понять: у этого человека есть кости, связки, артерии, пищевод, легкие его работают, и сетчатка впитывает свет. «Ну чего ты замер, Серый, иди, не бойся, тебе что, страшно?» Давид легонько стукнул его по хребту меж лопаток.

Пока кипел чай, он сидел на диване, прижав ладонь к груди, и разглядывал Давида. Он что-то писал в тетради, и по его дыханию можно было определить, что пишет он на родном языке. Он вообще любил разглядывать Давида, потому что тот был красив, – из таких спонтанных наблюдений всегда рождались идеи.

Давид был похож на сон, привидевшийся пустыне. Впервые они встретились на факультете искусств СПбГУ, на котором он успешно отучится, а Давид бросит учебу к третьему курсу и уйдет в армию, чтобы на второй год службы перевестись в спецназ и отравиться войной, подобно тому, как легкие ювелира разъедают ртутные испарения, уйдет, чтобы сгинуть в песках аравийской пустыни – самоубийцей с разбитым черепом – и вернуться – постаревшим за год на десять лет, еще более углубившим свое наследственное одиночество, но то будет потом, потом, в нынешнем прошлом, а сейчас нет ни боли, ни капель ртути на губах, только бесконечное, как пустыня, время и пересечение параллельных линий.

Итак, они познакомились на первом курсе, в первый день поступления, он тогда еще подумал: Господи, да он точно слабоумный, и этот жуткий, огромный человек, не то еврей, не то татарин, оказался его соседом по общежитию, и находиться рядом было странно, почти неприятно, потому что от Давида пахло песком и струпами, но он привык, потому что Давид был неплохим, в общем, соседом, тихим и спокойным настолько, что он порою забывал о присутствии Давида и пугался, когда тот начинал беззвучно ходить по комнате подобно большому хищному животному, но и страх прошел, потому что Давид больше странным ничем не занимался. Впрочем, он заметил, что стал хуже спать, а одной ночью проснулся и понял, что

кто-то смотрит на него из темноты светящимися глазами бенгальского тигра, ощутил чье-то тяжелое, влажное дыхание на щеке, но то была неправда и странная греза.

А еще Давид был бесконечно одинок. И когда пил, и когда сидел в ногах его кровати и что-то говорил на родном языке, потому что нужно было успокоить друга. Я видел тигра, говорил он, глядя в потолок. Я знаю, отвечал Давид и прислонялся спиной к стене. Его одиночество не мучило. Давид упивался им, как некоторые упиваются властью, потому что одиночество Давида было наследственным. Оно пришло из глубины времен, по сосудам и нервным окончаниям четырех поколений его предков, и он не мог не любить того, чем была его кровь.

После того как Давид ушел, они долго не виделись, а когда выдалась встреча, он не без интереса обнаружил в друге сходство с самой собой. Давид тоже боялся, и оттого дурное семя творчества, зароненное в его нервную систему тремя годами обучения, наконец дало всходы. Он понял, что Давид тоже боится, но страх его тяжелее, потому что умножен гранями песчинок аравийской пустыни. И оттого ему было по силам из куска мертвой глины сотворить не прекрасный плод, но гротескного недоноска на стыке искусства и анатомии.

Запищал чайник. Давид тяжело поднялся с кресла и скрылся за стеною. Он слышал, как приглушенно льется вода. «Держи», – сказал Давид, протягивая раскаленную кружку. Руки у него мелко тряслись.

Они сидели за столом: он – прямо, чтобы скрыть недомогание, Давид – вполборота, чтоб не видно было пустой глазницы. Ресницы у него были длинные, как у женщины, и носовой хрящ искривлен давним переломом.

«Слушай, Давид, я зачем, собственно, пришел... Короче, я тут затеял одну штуку. Не мог бы ты нарисовать меня? Ну не полностью прям, а эскизом.»

Давид сощурился. Зрачок его блеснул, как блестят глаза кошки, глядящей из тьмы на свет, он вздохнул – не как человек, а как спящая лошадь. «Блин, Серый, я в последний раз карандаш нормально в руки брал в началке. Вряд ли я смогу...»

«Мне нужен простой эскиз, чтобы на него мясо нарастить, просто мне тяжело даются собственные кости, понимаешь?»

Давид снова мигнул, как мигают игуаны. Здоровый глаз искрился. «Хорошо. Но нельзя ли это, не знаю, по телефону сказать было? У меня щас

никакого желания садиться и че-то делать нету. Давай ты пойдешь домой, а я спокойно сяду и об-
думаю все. Я тебе позвоню, ладно?»

Он вздохнул – ладно. «Ты не мог бы проводить меня? Там в подъезде тигр».

Пока он допивал чай, Давид опять куда-то скрылся – и вернулся вполне привычного виду, причесанный и с глазом. Он окликнул его. Постучал себе пальцем по щеке: «У тебя протез пере-
крутился».

Губы Давида дернулись – не то в улыбке, не то во вспышке нервного тика. И глаз снова отразил свет, окрасившись яшмой. Тревога никуда не де-
валась. Он знал, что тигр здесь, в тених кварти-
ры. А еще он знал, что этот человек ему не друг. И не Давид. «Я сейчас поправлю. Ну вот. Пошли?»

Давид не стал закрывать двери. Лифт, конечно же, не работал. Пришлось спускаться. Боль между брюшной полостью и грудной клеткой стала будто слабее, но то было мнимое успокоение. Он вслуши-
вался в каждый шаг Давида, который шел впереди. Ни одна лампа не горела. Ему было известно, что лестничный пролет между четвертым и пятым эта-
жами на порядок длинней остальных. Ну вот и пя-
тый этаж. Он замер, он слышал истошное биение своего сердца, он знал, что тигр где-то рядом, в тени, опаленный кончик хвоста выдает его. Давид остановился у самых ступенек. «Серый, ты идешь?»

Он подался вперед и толкнул Давида в бездну. Послышался короткий вскрик, звук удара и влаж-
ный хруст. Все стихло мгновенно, потому что гу-
стая мгла не пропускала эха. С треском замигала и вспыхнула лампа. Он увидел тело Давида, жел-
тую спину и широкую морду бенгальского тигра. Зверь дрогнул хвостом и ушел.

Он хотел спуститься к Давиду, коснуться его, чтобы убедиться, что он жив и будет говорить с ним, но не смог даже пошевелиться. Потому что его окружала бесконечная пустота – не было его тела, нежной, анатомически несовершенной обо-
лочки, ни подъезда, ни утра, ни города. И тогда он попробовал закричать, но не смог, ведь у него не было голосовых связок, ведь он исчез, ибо был сном, привидевшимся кому-то.



ГОРОХ НА ПЕТРОВОМ ПЕРЕГОНЕ



АЛЕНСАНДР ОМЕЛИН
Родился в городе Нулебани
Нижегородской области,
онучил радиофизический
факультет ННГУ имени
Н.И. Лобачевского. Работает

в сфере телекоммуникаци-
онных технологий.
Учился в школе писатель-
ского и сценарного мастер-
ства BAND. Публиковался
в журнале «Молоно».

Петр Гаврилыч два дня пил крепкий чай, таскал ведрами навоз и курил. А в третий день сел на рельсы и слушал, как за разъездом сначала лязгнуло, потом дернуло ржавую тишину над путями и загремело. И Петр Гаврилыч пошел к машинисту дрезины.

– Сердце вскипятишь. – Машинист посмотрел в глаза старика. – Зачем тебе?

Петр Гаврилыч выпрямился:

– Я сорок три года движенец, и перегон – мой.

Он поставил на раму дрезины литровую банку заячьей тушенки, шелкнул по ней ногтем.

– Спасибо, отец, я же не об этом. – Машинист взял банку. – Если нужно тебе, смотри, мы завтра до города пройдем, там обедаем, грузимся и обратно. На заводской прыгай часа в три, лады?

Петр Гаврилыч кивнул, машинист устался себе под ноги:

– А после нас, ну, уже гвоздодерить начнут...

Вечером монтеры закончили сгрести весь путейный хлам, и дрезина ушла по мертвой ветке в депо. Над разъездом веяло сентябрьской свежестью, трогало блеклые травы. Петр Гаврилыч обнял жену за плечи, сложив заскорузлые ладони как платок:

– Ты свой белый, в горох, помнишь?

Люба улынулась:

– Куда я его сейчас, отстань уж... Будешь там –

возьми в аптеке каптоприлу, две пачки с полоской, и пустырнику, для ног.

Утром старик поехал в город.

Пазик трясло, сбоку мелькали серые столбы и кресты в искусственных цветах, дорога вихляла, прыгала вверх-вниз, расхлябанная и скользкая – не его дорога. У него на всю жизнь – перегон, двенадцать километров стальной нитки – и тяжело, и звонко, и прямо. А эта, черной полосой по земле и не вздохнуть, – не его. Может быть, сыновья. Это Юрка потерялся на таких дорогах, уехал дальней весной, когда асфальт совсем поганый, бензиновые лужи и в сугробах видно трупы бродячих собак, убитых машинами. И ни звонка от него, от Юрки.

Петр Гаврилович вышел на автостанции, купил в аптеке лекарство и в маленьком магазине – чекушку. Ехать со всей бригадой – неудобно порожним. Город был – балаган с размазней, идти к знакомым старик не хотел, на базар – без нужды. На лавочке у заводской платформы просидел час с лишним, курил, глядел, как желтые березы на крыше недостроенного цеха роняют листья в кирпичные дыры.

Дрезина подошла к сроку, дала короткий хулиганистый гудок, и машинист крикнул из кабины:

– Прыгай, движенец!

Усатый монтер помог забраться. Под краном на дрезине лежали шпалы, стянутые тросами, на

шпалах сидели боком пятеро путейцев в жилетах. Несло креозотом и дизельюхой, по-родному. Петр Гаврилыч достал чекушку и оттопырил палец на бригаду.

– А что так мало? – засмеялся машинист. – Добро.

Выпили с горла, но поровну каждый. Старика спросили:

– Куда едешь?

– Петров перегон же? – Он показал рукой на рельсы. – Ну, я Петр.

Только машинист и усатый помнили что-то такое.

Пути бежали окраиной – парк, перегон, склады, объездная – и точеной линией стремились прочь. Когда снимут рельсы, в городском асфальте станет пусто в колее, и машины будут завсегда тормозить там, биться резиновыми колесами. Такая будет отметка.

После складов вдоль насыпи потянулись затопленные карьеры, ивняк и камыши. Гордые утки, забывшие шум на линии, поднимались с воды стаями и перелетали на глухие места. Дрезина шла медленно, вполтину медленнее поезда, и привычное для слуха «чух-чух» разбивалось на отдельные удары с промежутком, как будто высекали молотком или клацали затвором.

– Сейчас Первомайка будет! – Усатый толкнул плечом Петра Гаврилыча.

– Есть такое дело, – сказал старик.

Придерживаясь рукой о сложенные шпалы и плечи путейцев, он прошел к кабине машиниста, взялся за поручень.

– Посмотреть надо.

Дрезина отмеряла путь, чух – ударялись колеса, чух – клацал затвор.

Никогда с тех самых пор, как Петр Гаврилыч увез с Первомайки свою Любу, никогда он больше не проезжал этого пункта стоя. Тогда на Первомайке только обживались, делали лесхоз, еще что-то по этой части, и в первомайских, всех поголовно приезжих, еще не зародилась, не выстоялась деревенская злоба к чужим. Поэтому Петр гулял с Любой спокойно, катал ее к себе на разъезд. Случалось, он не предупреждал машиниста, они опаздывали на вечернюю заводскую «кукушку» и шли полперегона пешком, шли над туманом, по насыпи, как по облакам. В молоке только верхушки сосен и впереди – рельсы, шпалы.

– Как лестница для нас, – шептала тихая Люба.

– А мне бы горох, – говорил Петр и клал руки ей на белый платок с красными пятками.

Цеплялся к ним только толстый Коля Корыто, но не шибко, а с какой-то ребячьей дурью. И лишь в тот день, когда Петр приехал свататься, когда ехал он в костюме, стоя у кабины заводского поезда, Коля встретил поезд на платформе и вскинул на Петра ружье-фроловку. Выстрелил холостым – салют жениху!

Петр осел с испуга, вымазал костюм в масляной грязи, прямо на людях. Корыто мутузили тогда свои же, посватался Петр как следует, и все потом шло нормально, но Петр никогда больше не проезжал Первомайку стоя. Всегда сидел у машиниста, степенно и серьезно – начальник разъезда пятого класса.

Здорово, твою за душу, остановочный пункт Первомайский!

Поселок молча лупоглазил окнами на последнюю дрезину, домишки топырили в небо лопухи антенн и ежились от обреченных рельс. Мусорка под откосом – целлофановый ворох с бутылками, крышки, бетонная плита сползла с насыпи, утащила с собой фонарь и пеньки ограждения. Само ограждение давно скovyрнули в приемку. Машинист посмотрел на Петра Гаврилыча и не стал пускать гудок.

– Сядь давай, отец. Тэ-бэ.

Старик вернулся к монтерам, сел с торца шпал, так, чтобы видеть пройденную колею, всю ее прямоту и большую, мечтательную тягу вдаль.

Чух – колеса, чух – молотком.

После Первомайки линия уходила в чащобу, по сторонам вперемешку – сосны, осинник, бурьяны – все в разноцветье, но от тихого хода не мельтешит. Красиво. Дикая рябина роняет на пути красные ягоды, как Любин платок, как раскидывала им на дорожку горстями бабка-мордовка, говорила: «Пусть густо будет». Насыпь пропадала в мелколесье, местами во мху не видно шпал, пресекалась тропинка у рельс.

Чух – раз, чух – два, высекает молоток.

Петру Гаврилычу мыслилось, что вся та жизнь, которая щедро кипела на его перегоне и на всех других, слишком ошпарила эти пути. Бурлило, надувалось везде – на заводских перегонах, полустанках в лесу, на торфяных узкоколейках и разъездах – лопнуло, присохло и сходит человек с шелухой до стальных хребтов колеи. Дернут рельсы, переломят хребты. Значит – отжило.

Севернее города рубят лес, стелют горячий асфальт по вздыбленной, мягкой земле, как дерьмо размазывают – прости господи! – строят новую дорогу на Казань. Значит, там – будут жить, и ро-

жать, и горох свой сыпать. А тут – все. Узкоколейная, маловагонная Рассея – зарастай мхом, бей у разъезда зайцев на тушенку.

Старик курил и слушал стуки-счет колесных пар. Вдруг он повернулся к монтерам, дернул за жилетку усатого:

- А мост тоже разберут?
- А вот ни хрена. – Усатый весело разинул рот. – Нельзя переправу. По военным документам не дадут снести. Там вообще, про мосты то ли Москва, то ли губер решают, хер их пойми. Не будут трогать.

Петр Гаврилыч заморгал, опустил голову.

Мостовая ферма – оранжевая, облупленная и маленькая, в один пролет, – нечаянно возникла в деревьях и пронесла дрезину над ручьем. Железо гулко ударило, лес вытряхнул на воду листопад. Салют последней дрезине.

- Ты не кисни, движенец. Это еще поглядеть нужно: сегодня – ломаем, завтра – строим.

Линия выбралась из чащи на загадочный километр перед разъездом.

Чух – медленно, чух-чух.

Показалась сбоку гряда синего шлака, которым укрепляли насыпь, дуб у грибной поляны – брехали, что грибы около путей вредные, но Петр Гаврилыч стал собирать их, когда отменили движение, жарил с картошкой, и ничего – пикетный столбик торчал как часовой, тропинка придавила траву.

Лес отодвинулся от полотна, освобождая простор перед разъездом. Справа начался обгонный путь. Станционный домик издали казался теперь совсем крестьянским и низким, с теплицами, сеном и навозной прелью от черных грядок.

Чух – колеса, толчок – скрежет. Дрезина встала у платформы. Старик пожал руки монтерам, машинист хлопнул его по плечу:

- Сердце не кипяти, поживем, движенец.

Гаврилыч глупенько кивал головой.

Дрезина тронулась, и машинист наотмашь дал гудок. Короткий, короткий – протяжный. Дизельная гарь висла над путями.

У платформы ждала Люба. В белом платке в красный горох. Плакала и не знала, куда деть руки.

- Чего ты? Чего? Ну, подумаешь, разберут железку... – Петр Гаврилыч обнял жену, прижался в платок. – Давай еще рыдать!

Она собирала воздух на слова, легонько била Петра Гаврилыча маленьким кулачком по спине.

- Юрка приехал. Юрка. Живой.

ФИАЛКА КУЧЕРЯВАЯ



НАДЕЖДА ОНИГИНА
Родилась в Норолёве, окончила МГУ печати по специальности «инженер-технолог полиграфии». Работала дизайнером, верстальщином, занималась моушн-дизайном, руководила рекламным отделом. Автор трилогии «Руда», первый роман которой —

«Руда. Возвращение» — стал лауреатом премии «Электронная бунва — 2020». Автор повестей и рассказов в жанре фантастики, магреализма и реализма. Сотрудничает с издательствами «Снежный Ном», «АСТ», «Руграм» (серия «ЛитРес: фэнтези»), «Крафтовая литература».

«Еще три гудка, и сброшу...»

Костя стоял у окна с телефоном. Там, за окном, было слякотно. По дымчатым стеклам сползали капли, но не дождало, а конденсировалось: во дворе висела плотная морось, душная, обволакивающая, как вата, пропитанная хлороформом. Усыпляющая душу и тело, и хотелось зевать по-кошачьи, сводя на затылке уши, чтобы пошире открылась пасть, выпуская на волю проглоченный сон. Поздний ноябрь давил атмосферой, будто скидывал на глубину, так, что трещали барабанные перепонки. Но, может, это и к лучшему?

«Два гудка...»

Словно борясь с сонливой реальностью, коммунальщики взялись играть в Новый год: собирали под мелким бисером дождика елки, искусственные, неопрятные. Украшали, чем послали губернатор и мэрия, выкроив из бюджета копеечку. Укрывали деревья гирляндами, и их черные ветки преобразались, сверкая набрякшими каплями, как самоцветами в ювелирке. Тополя и березы в разноцветных огнях напоминали Косте стареющих модниц, навешавших на себя все сокровища, что нажиты за долгие годы.

«Гудок. Отбиваю...»

— Да, слушаю.

Как всегда, он растерялся. Мигом позабыл все слова. Да что там, он едва не нажал отбой — почти с облегчением, с кратким выдохом, и вдруг..

Голос усталый, слегка простуженный, с милой капризной манерой растягивать во фразе последнюю гласную. Теплый голос. Ее.

— Костик, опять будешь молчать?

— Привет, красавица. — В горле заперхало, и он закашлялся, прикрыв трубку, — Не разбудил тебя? Как ты?

— Да что со мной будет. А ты как живешь?

— Вроде нормально. Видала, гирлянды на улице вешают! Два месяца до Нового года, а они уже суетятся!

— В дождик очень красиво. Хорошо, что сейчас повесили.

— Это такой рекламный прием, типа, украсить все, бла-бла-бла, настроение, и народ в магазины, как зомби с авоськами, — шась! А там тоже все в мишуре, покупайте, граждане, скоро праздник!

— И палеты с шампанским со скидкой! — Она рассмеялась, негромко, но сердце радостно стукнуло. — Причем шампанское так себе.

Они помолчали, транжирия трафик, потом Костя робко спросил:

— Отпразднуем вместе, да?

Она терпеливо вздохнула и с докторской интонацией, как маленькому, повторила:

— Вряд ли. Не начинай.

— Нет, я что, я же не... — заторопился Костя, суетливо придумывая продолжение. — Я тебе

хотел рассказать! Мама моя тут отчудила. С работы пришла вся в нервах и ругается, как сапожник. Их в бухгалтерии заставили резать из салфеток снежинки, ну, чтоб на окна клеить. Она целую ночь промучилась, в интернете нашла кружевные, красивые, а оказалось, неправильно, им выслали образец с размерами! И схему, где что отрезать. Представляешь? Единое оформление помещений. Вот что за дебил придумал?

- Не знаю. – Она опять рассмеялась, тихо, но Костя услышал. – И что мама?
- Кроет их матом. Но, говорит, не нарежешь норму, могут лишиться конверта на праздник. Так что я сам вырезал. По схеме и нужным размерам.

Он говорил и смеялся, а сам приник к трубке ухом, плотно прижался, практически врос, ловя каждый звук в ее комнате. Вот как будто шаги по ковру, шорох тюлевой занавески...

- А как там твои фиалки?
- Фиалки? – слегка удивилась она. – Растут. И кучерявятся.

Костя закрыл глаза, каждым нервом втянувшись в трубку, и ощутил ее комнату, как плотную морось вокруг себя. Запахи, звуки обволокли, нашаманили телепортацию: вот ковер на полу и полки на стенах. И фиалки на подоконнике. Он увидел их так отчетливо, как будто встал рядом, коснулся рукой, любясь лиловыми, голубыми, розовыми цветами на глубоком фоне окна – черно-лаковом с рыжим блеском в прожилках сползающих капель.

- А какие сейчас цветут?
- Тебе как сказать, по названиям?
- Слушай, я что, ботаник?
- Опять ее смех, негромкий, приятный:
- Ну ладно. Цветут фиолетовые, такие, помнишь, почти в черноту, с белой каемкой по краю. И розовые кучерявые – эти просто отпад, все усыпаны, сто лет уже так не цвели. Зацветает бледно-голубенькая...
- С желтыми серединками?
- Кость, у всех серединки желтые, тоже мне, примету нашел. Да, еще белая вся в бутонах!
- Белая кучерявая?
- Костик, они все кучерявые.

Расхохоталась, и ему хорошо: у нее удивительный хохот, задорный. Что бы еще придумать такого? Она рассказала сама:

- Я из глины слепила чашку. Получилась корявая, ну такая, хендмейд, мне кажется, симпатичная.

Только у меня нет печи, обжигала ее в духовке. А потом вручную раскрасила: цветами белыми разрисовала и янтарик приклеила в серединку. Значит, чашка. Что ж, Костя запомнил. Кривая чашка с янтариком. В белых, как фиалки, цветах. Для него.

Янтарь они вдвоем собирали, когда ездили в Калининград. Она дорвалась до богатства и рванула по побережью, он только пакет успевал подставлять, пытался ее уговаривать, что тут один мусор, куда там! Целый мешок мутной мелочи – и счастье лунной дорожкой в глазах.

«Вроде журчит вода. Она поливает фиалки...»

У них были смешные названия, почти как у краски для волос в супермаркете, такие, чтобы привлечь к себе женщин: «Морозная вишня», «Белая королева», «Прекрасная креолка» и – о чудо! – «Морской волк». Как он затесался в эту компанию, грозный пират голубых кровей, с желтой серединкой, оставалось для Кости загадкой. Ему нравился «Морской волк», простецкий, неприхотливый. Удивительно, что фиалки к зиме распустились, а впрочем, с этой осенней моросью – за окном постоянная оттепель.

- С фиалками главное – не залить, иначе они погибнут, – деловито сказала она, и сердце у Кости подпрыгнуло и упало где-то в районе пяток, как неудачливый парашютист. – А еще я взялась за панно. – Вот всегда она так, без перехода. – А то янтарь пропадает. Выкладываю морской берег и луну над желтым в пене заливом, помнишь, какой он был? Ты сказал мне еще, между прочим, что море похоже на нефiltroванное пиво...
- Так же пенится и сносит башню. – Костя кивал, глядя в окно. Там, среди влажных огней, растекалось слезами его отражение. – Вот такой я неромантичный. Слушай, – решил он. – А что там с твоей прической? Как волосы?
- Хм, – сказала она. – Как, как... Фиалково. Растут и кучерявятся.
- Я хочу тебя видеть. Пожалуйста.
- Нет! – почти грубо отказала она. – Я просила: не начинай. Если любой наш разговор будет сводиться к такому нытью, лучше уж не звони. Ты понял?
- Я понял, – покорно кивнул трубке Костя. – А как твой аквариум? Ты его чистишь? Или совсем махнула рукой?

Она почему-то затихла, он снова в мыслях нырнул в ее комнату, увидел ковер, и полки, и подоконник с горшками. И мутный аквариум на столе,

в этом был его маленький шанс: вроде сменил пластинку, заговорил о рыбках, а на деле продолжил проситься в гости. Она все время губила аквариум, забывала ухаживать, чистить стекла, из него испарялась вода, и растения загибались, а рыбки плавали кверху брюхом. Костя начинал с дорогих, с золотых и пузатых, как в сказке Пушкина, но потом перешел на барбусов и зеленоватых неонов, стоивших демократично и неразличимых на вид. Их можно было вылавливать пальцами и потихому спускать в унитаз, не устраивая пышные похороны, как золотым товаркам. Если аквариум снова зарос, у Кости был повод приехать, хотя в данный момент он пустовал: там обретал одинокий сом, кое-как переживший все катаклизмы.

– Знаешь, – негромко сказала она. – Сомик сдох этой ночью. Последняя рыбка.

«Лучше б отбил звонок. Трус!..»

Да, все как всегда. Набираешь, чтоб узнать новости. И боишься любых новостей.

Страшно знать, что четвертая стадия.

Он закусил кулак, запихивая обратно всю боль и весь ужас, что рванулись по связкам в мучительном вое. А потом торопливо закхекал:

– Да и черт с ним, слушай, ну, сдох, удивительно, сколько он протянул, а я завтра же привезу тебе новых, самых экзотических рыб, вот только откроются магазины, я растений куплю и все вычищу, и фиалки твои посмотрю, и пирог испеку с вареньем...

– Костик, хватит нести эту чушь. Я тебе дверь не открою. Я уже все решила и, думаю...

– А меня ты спросила, нет? – выкрикнул в отчаянии Костя давно изводящую его мысль.

В комнате растекались чернильные тени, фиалковым паводком по паркету, по столу, по шкафу, дивану, перечеркивая все, что было, одним словом, скупым и жестоким.

Словом и цифрой «четыре».

Он же все равно ее видит, такую! Вот стоит у окна, растворившись в сумерках своей маленькой комнаты. Ее пальцы прозрачны до косточек, под глазами – фиалковые мешки, она легче цветочного лепестка, вены разбиты иголками, воля выжжена химикатами, и отросшие волосы кучерявятся, но он в курсе, что это иллюзия. Что это не навсегда.

– С какой стати? – жестко спросила она. – Это мое решение. Мое право уйти, как хочу.

– Я люблю тебя! – шепнул Костя то единственное правдивое, но запретное заклинание, и она отбила звонок. Как топором отрубила, не приняв

его правоты и мучительного желания быть рядом с ней до конца, в горе и в радости, в жизни и в смерти.

Окно перед ним было черным и глянцевым, как гранит кладбищенского надгробия, все в янтарных прожилках ночных фонарей. Он увидел кипень кучерявых фиалок у бортика цветника, на фоне витиеватых букв и прямолинейных цифр.

Нового года не будет. Его не будет совсем.

Там, где в туманной пленке неровно сползал конденсат, приоткрывался вид в зазеркалье, без страданий, без боли, без оправданий. Но главное – без нее.

Лишь фиалки росли и кучерявились.

Только бы их не залить.



КЛЕТОЧКА В ЛЕДЕРИНЕ

Михал Антонович сидел на скамеечке в парке. Прохожим казалось: пенсионер задремывает над городской газетой, а он водил двумя пальцами по пористой дешевой бумаге и тихо, бесслезно плакал.

Странная штука – слеза человеческая. Когда надо, ее не хватает. Да и плач – ведь откуда-то он берется? Из каких закровов души? Разве плакал он в сорок первом, когда страх ходил по пятам, нет, тогда они больше смеялись, они торопились жить, шутили над глупой смертушкой, дышащей им в затылок. А теперь-то и вовсе зачем? Обманули войну, взяли, выжили. Мир теперь на дворе.

Иногда война наступала. От нее застывала нога и горели барабанные перепонки, в наступающей тишине он кричал страшным криком: трубка пятнадцать, прицел сто двадцать, батарея, огонь, бац, бац! Хрипло, грозно, отмахивал правой рукой, отдавая приказ артиллерии. Перепуганная дочка совала таблетки под нос, как ребенку, как несмышленишу, онемевшая и очумевшая смешная его Маруська, Манька, он улыбался дочурке, и война отступала в туман. Звуки взрывали загнувшийся мозг, звуки мирные и обычные, первым делом он слышал часы: тик-так, тик, тик – с тем знакомым надрывом, со скрипом пружин, что были и до атаки. И тогда говорил, добивая войну, припечатывал резкими строчками:

– Зазвенел будильник ржавый!
– Ну тебя, пап, – отмахивалась Маруська. – Опять со своим будильником. Ты когда режим начнешь соблюдать, ну, прописано же – каждый час!

У Михал Антоновича был плохо скрытый грешок. Он рифмовал свою жизнь и записывал в ровные клеточки, в тетрадку под бежевым ледерином. Старательно выводил аккуратные буквы, строил строчку за строчкой, как взвод солдат, батарея, огонь, бац, бац!

Только редко кто слушал его стихи в этом, им отвоеванном, мире. А на фронте, бывало, в газете печатали.

– Зазвенел будильник ржавый, словно Сатана, зарычала львицею сонная жена...

Это он за грибами ходил, собирался впотымах, чем-то грохнул, жинка неделю пилила.

Он от этой «пилы» хоть в лес, хоть рыбалить, а хоть и в шахматы на пруду, все одно! Лишь бы на воле, на чистом воздухе.

В шахматы Михал Антонович играл так, что сбегался весь парк. Кандидаты в мастера приезжали партейку сыграть с «дядей Мишей». Только он их удельвал мордой в доску, подумаешь, клубы столичные! Интеллигенция! Пусть знают наших, простых работяг, всю жизнь у станка. Они не были на войне и не знали, как правильно строить армию, как командовать гарнизоном и беречь свои

пешки, пехоту родную, как на танки пускать кавалерию, а потом разряжать батарею: трубка пятнадцать, прицел сто двадцать, огонь, бац, бац! Шах и мат.

Зазвенел будильник ржавый...

А еще про морозный лес и синицу. Красиво! Никто не слушает.

Михал Антонович давно примирился с тем, что его стихи никому не трогают душу. Разве Есенин улыбнется с портрета, этот земляк, этот оценит. По молодости, говорят, похож он был на Есенина, прям как брат, на такого вот жинка позарилась, белобрысого, с томным взглядом, только жизнь из него всю истому повыбила и отметин оставила – не сосчитаешь. Затерялся Сережа Есенин за морщинами и сединой.

Вот уж год, как Михал Антонович сводил свое тайное творчество в ледериновую тетрадь. Та, сперва крепкая, новая, разбухла и обтрепалась, потрескался бежевый ледерин, но на страницах строчка за строчкой ложились все новые четверостишия, сползались из календарей, из бумажек со дна комода, с огрызков газет и чеков, отнятых у жены, ведшей строгий учет растрат. Иногда Михал Антонович перечитывал, бережно, трепетно, каждый листок тетрадки, стеснялся помарок, краснел за ошибки, но оставлял как есть. Дочке Маньке на память.

Маруська жила своей жизнью, в другом городе, с хорошим мужем, иногда звонила отцу, и он говорил ей в трубку:

– Зазвенел будильник ржавый!

– Ну тебя, пап, – обижалась Манька. – Я про серьезные вещи!

Он тоже говорил про серьезное, только никто не слышал.

Лето случилось капризное, то в жару, то в холода, и в солнечные деньки народ выбирался к воде погреться. Скамейку под кленом, в тенечке, с утра занимали любители шахмат, и «дядю Мишу» здесь ждали, как ждут заезжего тенора, не начинали игры или резко сметали партию, когда он, стуча своей палкой, показывался у пруда. Он знал, что делают ставки, он знал, что всех этих столичных нарочно зовут в городок, чтобы потом поглумиться. Ему было все равно. Михал Антонович, склоняясь над клетчатой деревяшкой, видел страницы своей тетрадки и выводил по полю реальность новой шахматной партии, выписывал строчку за строчкой, приговаривая, как заклинание:

– Зазвенел будильник ржавый! – Ход всеми забытой пешкой. Шах! – Словно Сатана!

– А дальше? – спросил чей-то голос.

– Будет мат! – заверила группа поддержки.

– Да нет, про будильник! – настаивал голос.

– Зарычала львицею сонная жена, – отмахнулся «дядя Миша», бросая в атаку слона. – Что тебе не спится, леший... – противник на доске отчаянно пытался сотворить ничью, но мастер не оставил ему простора, – в ночи поздний час?.. И спросонок пробурчала сотню бранных фраз!

С партией было покончено, но соперник, пожав узловатую руку, не спешил ее отпускать. Он смотрел на Михал Антоновича, на «дядю Мишу», которому только что круто продул, и выжидательно улыбался.

– Хотите еще раз сыграть? – догадался Михал Антонович. – Матч-реванш, так сказать?

– Хочу еще про будильник. Расскажите? – Он был в возрасте, этот интеллигент, в аккуратной рубашке, по такой-то жару, в брюках, туфлях – парад полнейший. – Понимаете, я поэт. Ну и в шахматы тоже играю. А тут вы прочитали стихи. Это чьи? Они вам помогают?

– В смысле, чьи? Это я сам, – засмутился Михал Антонович. – Так, сочиняю маленько.

Как-то само собой получилось, что они пошли вдоль пруда, потом по аллеям, говоря обо всем вперемешку, о шахматах и о войне, и читали друг другу стихи. Юрий, он так назвался, слушал очень внимательно, даже с каким-то голодным трепетом. И про будильник, и про синицу, и про поездку на лыжах.

– Свежо! – говорил он. – Свежо, самобытно, как вы играете с ритмом! Дядя Миша, вам нужно печататься. Обязательно! Почему ерунда?

– Никому же не интересно, – поделился Михал Антонович. – Кто же станет читать про то, как я с горки катаюсь? Или дочку вожу в лес по ягоды?

Юра расхохотался.

– Да сейчас только так и нужно! Когда не из-под палки, не взвейся-развейся, а от души, на дворе – перестройка!

Он рассказал о читателях, о простых работающих людях, им-то нужно читать про себя, узнавать в «дяде Мише» привычную жизнь, и о знакомых редакторах, готовых печатать такие стихи.

– Столицы я вам обещать не могу, но здесь, в вашей местной газете, напечатают наверняка!

Если б вы мне записали, я бы кое-кому показал. Сердце Михал Антоновича бумкало где-то у горла, оказываясь вдруг в коленках, и он даже присел на скамеечку: так расшалилось дурное,

выстукивая дробный ритм, что опять отнялась нога. Трубка пятнадцать, прицел сто двадцать, бац, бац... До боли. Уже одно то, что нашелся ценитель, слушатель, тоже поэт, шахматист! Уже это лишало воли, сбивало дыхание, как удар, одно только право прочесть до конца, до самой последней строчки – о, за такое в атаку шли, мир стране добывали!

– Дядя Миша, вам нездоровится? – забеспокоился Юра. – Зря я вас так растревожил. Посидите, а я водички...

– Нет, это вы посидите! – вздернулся «дядя Миша». – Я сейчас, я бегом, бац, бац, я скоро!

Он не помнил, как добежал, как добрался туда и обратно, в сладком мороке вдруг оцененного творчества Михал Антонович не заметил дороги, хотя сердце стучалось в виски, будто просило одуматься. Он вернулся с той самой тетрадкой, в бежевом ледерине, и замученно протянул пухлый сборник стихов первому в жизни читателю.

Юра принял его, почтительно и внимательно пролистал, кое-где указал на ошибки, на сбитый ритм или скверную рифму, но в целом остался доволен и сказал, что покажет тетрадку редактору, завтра же все покажет и вернется на эту скамейку с положительным, он уверен, ответом.

На этом и разошлись.

Ночью Михал Антонович все не мог раздышаться, он бродил, как в горячке, по комнате, он мешал спать жене, но не слышал ее: в голове шла война и бомбила врага артиллерия. От переживаний он слег, жинка вызвала скорую и вколола укол, потому что хотела покоя, а «старик» опять колобродил.

Назавтра Михал Антонович спал, изредка вскрикивая страшным голосом про батарею и про будильник, и про Юру, которого знать не знали. Не встал он и в третий день, весь растворившись, как сахар, в крутом кипятке болезни.

На пятый день он соврал, что пойдет в поликлинику к терапевту, и приплелся к знакомой скамейке, уверенный, что Юра ждет, что прождал его все эти дни и уже потерял терпение. Михал Антонович очень боялся, что редактор не будет печатать стихи такого ненадежного автора, он составлял в голове оправдания, он даже справку взял, что болел, но Юры в парке не оказалось. Ни на скамейке, ни у пруда, ни в компании шахматистов, встретивших «дядю Мишу» криками и аплодисментами. На все вопросы о бывшем сопернике, ну, седеньком, в рубашке с ботинками, недоуменно заозирались, а потом порешили, что

«дядя Миша» по простоте провалился в запой, где вместо белки пришел к нему Юра, что, по сути, без разницы.

Еще неделю Михал Антонович кружил по дорожкам парка, просительно заглядывал в лица обладателям седых голов. Он ждал. Он уже сам не помнил, как выглядел этот Юра, рубашку помнил и галстук, ботинки, а вот лицо... Он примирился бы с тем, что видел Юру в плену горячки, но ящик, где он держал свой сборник, был пуст, и от этого стыло сердце несчастного «дяди Миши», который забросил игру, совсем. Садясь за шахматы, он по привычке шептал свою присказку про будильник, и вспоминал тетрадь и Юру, и сразу же путался на доске.

– Да, подкосила жизнь старика! – шептались его болельщики, а Михал Антонович все тянул и выискивал для пропавшего Юры новые оправдания. Он не хотел потерять так много и сразу, как на войне. Он разучился шутить над потерями.

Газета подвернулась случайно: кто-то забыл на скамейке. Он взял ее за уголок, чтобы отправить в урну, но, тронув взглядом, уже не смог ни смять, ни разорвать. Так и сидел, бесслезный, глядя бумагу, как глядят щенков, потерявшихся и прибежавших на свист.

Все они были здесь – будильник, зима в лесу, даже горка, – избитые и изнасилованные, дописанные и изрезанные, но все же его, его! Родные и бестолковые, вся жизнь в наивной рифмовке, изытая из ледерина и выставленная напоказ за подписью «Ю.М. Петров». Он больше не был владельцем тетрадки, он потерял свидетельство жизни, которая вдруг вся куда-то прошла.

Потому что не будет шахмат, не будет неровных строчек и тайной надежды на то, что когда-нибудь Манька его прочтает и наконец оценит стихи. А если Михал Антонович расскажет еще про будильник, все рассмеются: да это Петров, поэт, знаем, знаем, читали!

Сверху упала большая капля, плюнула в рыхлый газетный лист, съедая помятые строчки, Михал Антонович поднял руку, чтобы проверить, что там с глазами. Но на щеках и между век была пустыня, горячая, колкая, зато над парком набухла гроза, будто кто-то на небесах решил сегодня помыться.

Он встал, прикрывая собой газету, и, шаркая, поплелся к дому. А на скамеечке коченела оставленная под дождем, несокрушимая, как ржавый будильник, душа.

СОРОКА



ЕНАТЕРИНА БАРБАНЯГА

Родилась в 1990 году в Одессе, живет в Санкт-Петербурге. Поэт, прозаик, журналист, педагог. Работала на радиостанции «Град Петров», возглавляла

пресс-службу Фонда «Живая классика». Публиковалась в журналах «Невский альманах», «Подъем», «Сибирские огни». Лауреат премий «Зеленый листок», «Новые писатели», «Молодой

Петербург». Автор и руководитель социального проекта для одаренных подростков «Талант: Литература» и организатор детского конкурса «Читаем Блока» в Санкт-Петербурге.

Кто знал мою девочку, не смог бы поверить, что она перестала улыбаться. Первые десять минут она даже не узнавала меня. Василиса, василек мой, крошечка моя, что же с тобой случилось? Часто, болезненно дыша, она опрокидывала голову и пыталась сосредоточить взгляд на том, что маячило перед глазами, – моем носе, рукаве, желтой мягкой игрушке, которую я привезла ей в подарок. Не получалось. Василиса маленькими пальцами сжимала одеяло и обессиленно падала в подушку.

Все случилось в праздничный день, в день ее рождения. Шары под потолком и мама рядом. С днем рождения тебя, милая!

Шесть лет назад Василиса ворвалась в этот мир запоздало, но стремительно, на 42-й неделе. Совсем не там, где я бы хотела встретиться с ней, не в то время, не так. В пустой палате ближайшего роддома в первом часу ночи. Своенравная девочка – сразу выиграла спор, что родится в день святой Василиссы. Врачи подоспели на последних минутах, приняли крупное красное тельце, полнокровное и здоровое, весом под четыре кило. Мою дочь. Рожденное мной, но в ту минуту еще чуждое мне существо. «Чья это толстая девочка?» – шептались медсестры.

Кому сейчас пришло бы в голову так сказать о Василисе? Прошлым летом мы едва натягивали

джинсы на ее полноватую попу, а сейчас я отвожу взгляд от выпирающих на плечах косточек. Скелетик с большими безумными глазами. Дети блокадного Ленинграда выглядели так. Как такое могло произойти с моей крошкой? Последнюю неделю она почти ничего не ела, много пила, чаще молчала и как-то резко, неестественно, теряла вес.

Кажется, я так давно не видела ее... Два месяца назад мы обнялись перед большой разлукой. Мне приходилось увливать и врать, саму себя убеждая, что жить порознь будет легко. Отшучивать себя самой себе, что сумею скопить на психолога, открою специальный счет, и так мы со всем справимся. Никакой катастрофы, новый этап. Будто в наш автомобиль врезалась большая фура – а мы остались живы, только осколки стекол на одежде. Ничего, отряхнемся и будем жить. Я буду рядом, детка, звони мне – я всегда отвечу, а бабушка позаботится о тебе.

На фотографиях и видео – моя Василиса, а я будто на луне и не могу оценить ни веса, ни роста, ни телосложения. Не могу оценить – радостно ей или грустно, любит она меня или ненавидит, умеет ли она уже читать. Я покупаю большого плюшевого крокодила – я знаю, что Василиса улыбнется ему. Мне радостно от этого. Чужой дядя приносит моей девочке подарок, и слабая улыбка на фото, и плюшевый зверь рядом – больше

в размерах, полновеснее, чем я ожидала. Что-то не так, но я скоро приеду, я все решу. Худеет? Наверное, растет. Слабеет? Наверное, устала.

Каждый срывает свой лепесток: я виновата, я виноват, мы виноваты. Сирена неотложки – слишком близко, резко, как если бы звучала внутри меня. Я держу мою девочку на прыгающих на каждом лежачем полицейском, на каждом резком повороте коленках, стараюсь прижать к тем местам, которые меньше дергаются, держать за те, на которых не останутся синяки. Держись, пожалуйста! Как я соскучилась по тебе! Не теряй сознание... Не умирай... Держится, кивает. Маленький комок взрослости и покоя. Тонкие прутики, болтающиеся у моих ног. Резвая моя, шептунья, кто тебя сделал такой?

Это только мой лепесток. Конечно, только я виновата. Пришло время нашей очной ставки с моей виной. Была бы рядом – случилось бы это с ней?

Те, кто повежливей, – не говорят вслух, но точно знают, как это называется. В народе, в обществе. Для чего рожала – чтобы бросить? Кукушка. Наверное, я буду жить вечно – так много, часто бьет по вискам это слово. Я была первой, кто бросил камень, – я попала в себя. Можно ли было оставить эту девочку, маленькую, слабую, хрупкую, зависимую в своем сложном характере, с первых же секунд жизни, от такой же, как она, – от меня?

Я торможу ее ручки, опалые щеки – посмотри на меня, доченька! Врачи знают, что она придет в себя, что посмотрит на меня, но все это – только начало. Шестой день рождения, разделивший жизнь на до и после. Я уже знаю, что это – кома, что причина – диабет. Фура все-таки задела нас, непоправимое случилось, но могу ли я все склеить, чтобы было как прежде? У меня – обратный билет, в разделенное разлукой пространство, у меня – билет в прошлую жизнь, за 24 часа до этой минуты. Я не знаю, как изменить свою жизнь.

Василиса открывает глаза, водит взгляд по палате – по трубкам, капельницам, окну, экранам с мигающими данными. Я держу ее за руку. Она сжимает мою. Ты меня еще любишь? Чей это вопрос? Кто из нас боится больше? Я – потому что виновата перед ней.

«Пожалуйста, скажи: ты еще помнишь меня, еще любишь меня?» – дергаю слабые плечи. Она хмурит лоб, плачет – я пугаю ее. Она маленькая, она больна. Трогаю легкую ладонь – вожу пальцами между косточками, поверх тонких кожных разводов и линий, как младенцу. Другая птица – другая

мать. Которая варит на каждого, каждому ставит на стол. Если бы я могла так... Как сорока из детской присказки.

Василиса любит эту игру – ее никогда не устраивало, что кто-то останется без обеда. Ее ладонь наливается силой, большой палец ныряет внутрь кулака. Словно слабый-слабый ток проходит по нашим соединенным рукам. Я не вижу, но слышу – время идет дальше. Я не вижу, но чувствую – моя девочка снова улыбается.



БЫЛОЕ И ДУМЫ

ДЕСАНТ ЗА КРАСОТОЙ

ОТ МОСКВЫ ДО МАНЬЧЖУРИИ: ПУТИ ПОЗНАНИЯ
МИХАИЛА АНЧАРОВА



ВАСИЛИЙ АВЧЕННО
Журналист, прозаик. Родился
в 1980 году в Ирнутской
области, вырос и живет
во Владивостоке. Окончил
мурман ДВГУ. Автор
документального романа
«Правый руль» (2009,

переведен на японский),
беллетризованной энцикло-
педии-путеводителя «Глобус
Владивостока» (2012), фанта-
стической киноповести
«Владивосток-3000» (2011,
в соавторстве с музыкантом
Ильей Лагутенно).

Его влекло все – живопись, литература, музыка, кино. Человек разумный, считал он, – это непременно человек творящий, открывающий. Писатель, художник, бард, драматург Михаил Анчаров родился в Москве век назад, 28 марта 1923 года.

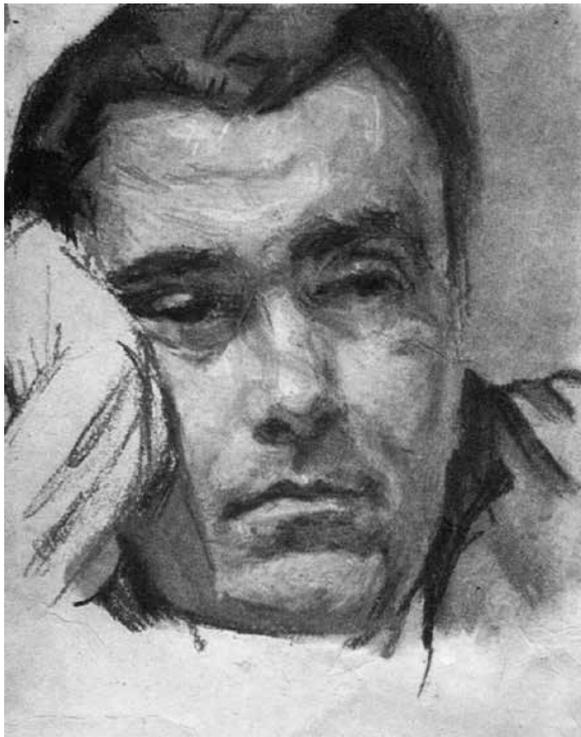
Китайская грамота

С началом войны явился в военкомат. Хотел попасть в летчики – а получил направление в сформировавшийся тогда Военный институт иностранных языков Красной армии.

Новый вуз создавал генерал Николай Бязи – человек не просто незаурядный, а штучный, редчайший, готовый герой романа. Внук Александра Пальма – петрашевца, осужденного с Достоевским, подпоручик Первой мировой, полиглот, автор работ по лингвистике и военному делу («Техника допроса пленного», «Словарь французского военного жаргона», «Действия в горах»), чемпион СССР по стрельбе, первый в стране футбольный судья, глава Всесоюзной секции бокса... В разгар войны Бязи формировал на Кавказе отряды лыжников для борьбы с альпийскими стрелками. В 1944-м вернулся к руководству институтом.

Выпускников ВИИЯКА направляли в армейские разведслужбы, военную контрразведку Смерш, органы НКВД. Многие из них позже прославились на других фронтах: композитор Андрей Эшпай, писатель Аркадий Стругацкий, актер Владимир Этуш, мультипликатор, создатель «Каникул Бонифация» Федор Хитрук, журналист-международник, автор «Ветки сакуры» Всеволод Овчинников...

В основном курсанты, понятно, учили немецкий, знакомый еще по школе. Зачастую дело ограничивалось полугодовыми курсами – и вперед, на фронт. Анчарову, однако, почему-то выпало учить китайский.



↑ Михаил Анчаров.
Автопортрет

Китай был одной из главных надежд красной Москвы. Еще в 1920-х знаменитый военачальник Василий Блюхер помогал китайским лидерам – Сунь Ятсену, а потом Чан Кайши – строить современную армию и объединять раздробленную страну. Когда стало ясно, что ставка на Чан Кайши не оправдалась, Кремль поддержал оппозицию – коммунистов Мао Цзэдуна. После того как в 1937 году Япония, ранее уже оккупировавшая Маньчжурию, начала большую войну против Китая, Мао и Чан заключили временное перемирие. СССР помогал Китаю техникой, направлял летчиков-добровольцев (включая таких асов, как Тимофей Хрюкин, Павел Рычагов, Степан Супрун; именно в ту пору уходят корни фольклора о «китайском летчике Ли Си Цыне» – советские пилоты воевали против японцев негласно). Военными советниками в Китае служили будущие маршалы Рыбалко, Чуйков, Батицкий. Квантунская группировка японских войск стояла в Маньчжурии – на дальневосточных рубежах СССР. Уже в 1938-м с японцами пришлось драться у приморского озера Хасан, в 1939-м – у монгольской реки Халхин-Гол. Помогая Китаю, СССР прикрывал и собственные границы. Новая большая война казалась неизбежной, а востоковедов, многие из которых сгинули в годы ежовщины, отчаянно не хватало. Вот почему ВИИЯКА готовил специалистов по Китаю и Японии даже тогда, когда немцы рвались к Москве и Сталинграду.

С китайским полугодовыми курсами было не обойтись. Многих отсеивали: не давались иероглифы, чуждый синтаксис, четыре тональности... Анчаров, еще до войны занимавшийся живописью, выводил иероглифы с удовольствием, впоследствии даже даты под стихами ставил по-китайски. Кроме языка и военных дисциплин, изучал географию, историю, культуру Китая. Институт, эвакуированный и возвращенный в столицу, окончил в конце 1944 года – последний выпуск по ускоренной программе.

Младшего лейтенанта, переводчика первого разряда Анчарова направили в военную контрразведку Смерш Наркомата обороны, которой руководил Виктор Абакумов.

Маньчжурский август

Весной 1945 года СССР, готовившийся по соглашению с союзниками вступить в войну против Японии, денонсировал пакт с Токио о нейтралитете. 9 августа границу Маньчжоу-го (марионеточного государства, созданного Японией на северо-востоке Китая еще в 1932 году) перешли войска 1-го Дальневосточного, 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов. Наступление велось одновременно со стороны Приморья, Хабаровска, Читы. Театр военных действий превосходил площадь Германии, Италии и Японии, вместе взятых. Секретная переброска войск из Европы, переход через пустыню Гоби и хребет Большой Хинган, прорыв пограничных укрепрайонов – так началась Советско-японская война, маньчжурский блицкриг маршала Александра Василевского.

22-летний Анчаров, летом 1945 года направленный в Приморье, принял участие в этой кампании в рядах 1-го Дальневосточного фронта маршала Кирилла Мерецкова.

Известны два письма Михаила родным, отосланные с Дальнего Востока 22 июля и 24 августа 1945 года. В первом он сообщил о прибытии в некий маньчжурский город. Авторы книги «Михаил Анчаров. Писатель, бард, художник, драматург» Юрий Ревич и Виктор Юровский предполагают, что речь идет о Муданьцзяне. Однако до 9 августа Красная армия маньчжурских границ не пересекала. Скорее всего, Анчаров подразумевал Уссурийск (в 1935–1957 годах – Ворошилов).

Во втором письме Анчаров писал: «Техника основная у японцев оказалась слабой. Японской авиации мы почти не видали. Все воздушные бои оказывались для них проигранными, танки у них не сильные. Я сам видел, как наш тяжелый танк раздавил японский». Позже эти впечатления превратятся в «Балладу о танке “Т-34”»:

*...Я давил эти панцири
Черепаш,
Пробиваясь в глубь норы,
И дзоты трещали,
Как черепа,
И лопались, как нарыв...*

Поиски документов о награждении Анчарова орденом Красной Звезды отняли у биографов немало времени. Оказалось, что в соответствующем приказе по 1-му Дальневосточному фронту от 27 августа 1945 года значилась фамилия «Гончаров» – по ошибке или из соображений секретности? Орден Анчаров получил вот за что: «Будучи выброшен в районе г. Муданьцзяна, показал себя смелым и решительным командиром и умело выполнил ряд заданий командования». Обращает на себя внимание слово «выброшен» – получается, это был парашютный десант? Почему – «смелым командиром», а не «грамотным переводчиком»? Ревич и Юровский пишут: «Выпускники ВИИЯКА в своих воспоминаниях сообщали, что Анчаров принимал непосредственное участие в захвате и аресте правительства Маньчжоу-го в Чанчуне во главе с последним китайским императором из маньчжурской династии Цин по имени Пу И... Полагаем, что к ордену Анчаров был представлен как раз за участие в этой операции».

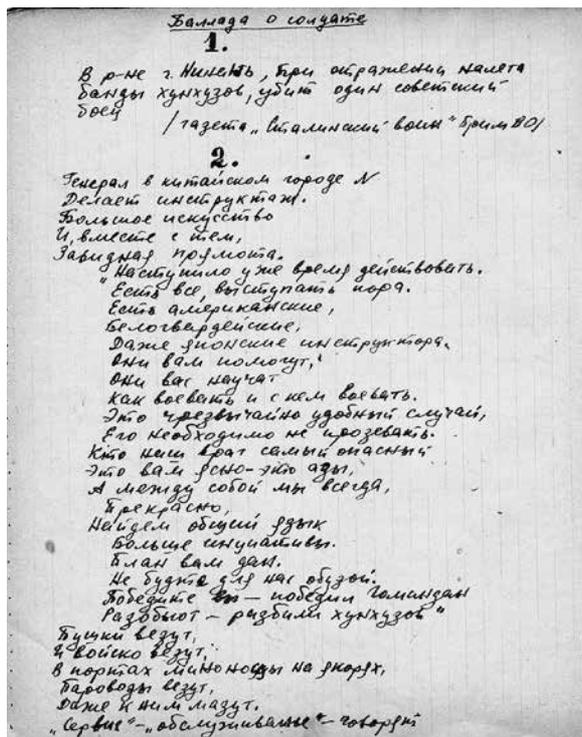


↑ Михаил Анчаров
в Маньчжурии

→ Автопортрет, 1946

Айсиньгеро Пу И впервые стал императором Китая еще в 1908 году, в двухлетнем возрасте. После Синьхайской революции 1911 года был низложен. В 1917 году его вновь провозгласили императором – всего на две недели. Позже японцы сделали Пу И главой «Великой Маньчжурской империи». Однако ни он, ни премьер-министр Маньчжоу-го Чжан Цзинхуэй реальной власти не имели, все вопросы решала японская администрация. 19 августа 1945 года Пу И захватили советские десантники. Произошло это, уточним, не в Чанчуне (Синьцзине), где находилась столица Маньчжоу-го, а на аэродроме Мукдена (Шэньяня), откуда императора должны были вывезти в Японию. Пу И попал в Хабаровск на «спецобъект 45» – лагерь для японских генералов и маньчжурских министров. Он не был обычным заключенным – его учили русскому языку, приобщали к идеям коммунизма. В 1946 году Пу И выступил свидетелем обвинения на Токийском процессе, дав показания против японских военных преступников. В Китае трижды низложенный император возвращаться не хотел – просил оставить его в СССР, заверял, что проникся идеями Маркса и Ленина, обещал передать свои драгоценности на восстановление народного хозяйства СССР. После того как в 1949 году возобновившаяся в Китае гражданскую войну выиграли коммунисты Мао, императора все-таки вернули на родину. Он попал в «лагерь перевоспитания», после освобождения работал в ботаническом саду Пекина, архивариусом в национальной библиотеке. Мы не можем утверждать наверняка, что Анчаров участвовал в захвате или допросе Пу И, но часто ли военные переводчики получали боевые ордена за ту короткую войну?

Есть фото младшего лейтенанта Анчарова в Маньчжурии – красивый, тонкий, интеллигентный; как не похож этот офицер военной контрразведки на звероватых и упыреватых смершевцев, которых показывают нам современные кинематографисты...



↑ Михаил Анчаров
в Маньчжурии

→ Автографы маньчжур-
ских стихов «Баллада
о солдате»

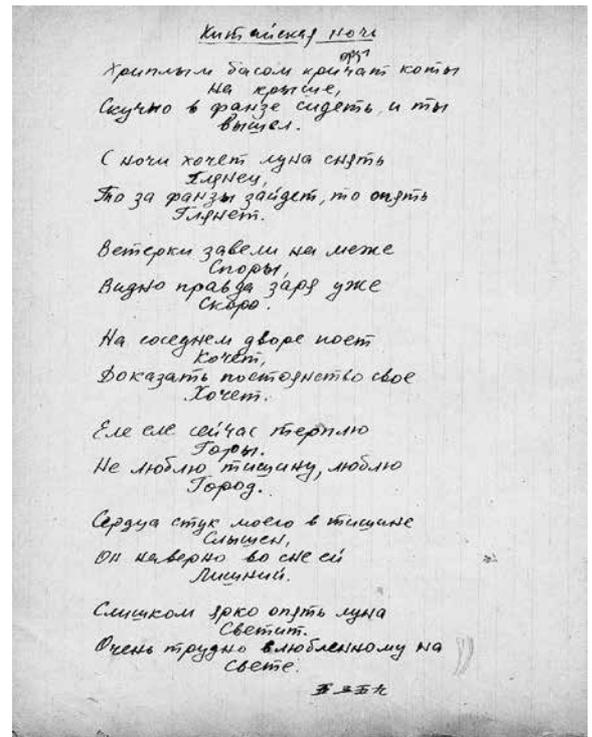
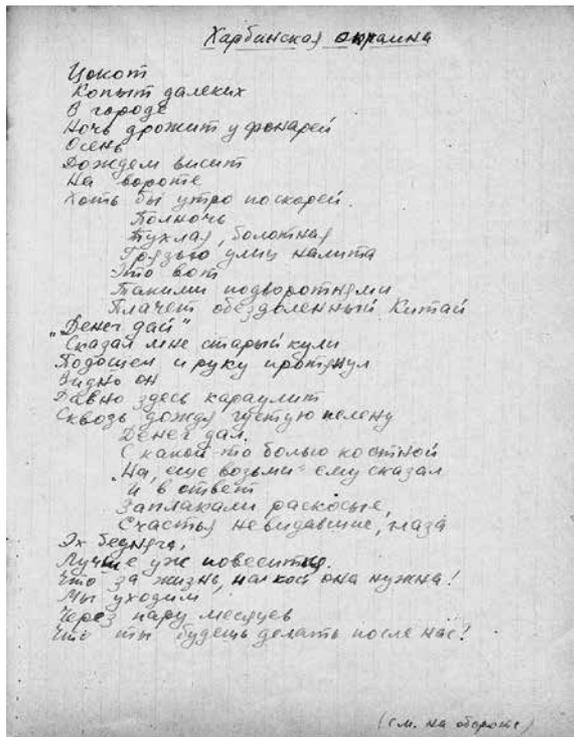
В мае 1946 года Смерш расформировали, передав штаты в МГБ. Так что Анчаров недолго побыл и «гэбистом».

Из Маньчжурии он вернулся в конце 1946-го. Год спустя подал рапорт об увольнении. Вспоминал: «Не отпускали, а я просто смертельно хотел учиться живописи. По ночам краски снились... Я там на работе портреты всех сослуживцев сделал, но, к сожалению, в институт их представить не мог, потому что физиономии сослуживцев были не для показа».

В прозе и песнях Анчарова маньчжурско-дальневосточная тематика занимает немало места. Еще в 1942 году он написал песню на стихи Веры Инбер, заменив Берлин Чунцином (этот город в период Японо-китайской войны 1937–1945 годов одно время играл роль столицы Китая) и явно намекая на помощь Советского Союза:

*Быстро-быстро донельзя
Дни пройдут, как один.
Лягут синие рельсы
От Москвы на Чунцин...*

Маньчжурии посвящен ряд стихотворений Анчарова – «Баллада о солдате», «Родимый дом», «Харбинская окраина», «Китайская ночь»... Первая публикация его прозы – сценарий «Баллада о счастливой любви», написанный вместе с Семеном Вонсевером (тоже участником войны с Японией) и опубликованный в 1956 году журналом «Искусство кино». В нем рассказывается о любви китайки Мэй и русского маньчжурца Василия. Фильм собирался снимать Станислав Ростоцкий, но обострение советско-китайских отношений поставило на замысле крест. В следующем сценарии – «Солнечный круг» – лейтенант, вернувшийся с Дальнего Востока, создает солнечную электростанцию. Действие сценария Анчарова и Вонсевера «До свиданья, Алеша» разворачивается опять же на Дальнем Востоке после войны. Мальчик



† Автографы маньчжурских стихов «Харбинская онраина», «Нитайская ночь»

Алеша ненавидит японцев, убивших его отца, но вот японец Таро спасает тонущего Алешу, и они вместе идут на рыбалку.

Неудивительно, что трехнедельная война с Японией попала в тень Великой Отечественной – слишком скоротечной она оказалась, слишком далеко шла. Она не могла дать мощного потока «военкорской» и «окопной» литературы, который породила Великая Отечественная. «Орлы над Хинганом» Георгия Маркова, «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...» Владимира Богомолова – вот редкие примеры переплавки маньчжурского августа 1945 года отечественной словесностью. В этом же ряду – повесть Михаила Анчарова «Этот синий апрель...» (1967). Пожалуй, это лучшее художественное свидетельство той войны, насыщенное множеством редкостных живых деталей; проза и «лейтенантская», и востоковедческая, описывающая в том числе русских эмигрантов-харбинцев. Герой повести – «благущинский атаман» Гошка Панфилов, плюс-минус автобиографический персонаж, появляющийся у Анчарова там и тут. Именно его глазами описано наступление из Приморья в Маньчжурию: «...Однажды ночью всех подняли и сказали – “началось”. Сели в машины и, не гася фар, помчались к границе. Потом погасили фары, и стало слышно, что началось, – вдали грохотало и перекачывалось. Техники навезли немыслимое количество, артиллерии по пятьсот стволов на километр, через два метра – орудия. Квантунцы долбили свои сопки двадцать лет и прорыли в скалах муравьиные ходы и укрепили границу здорово, это были не финские бетонные доты, а скалы, утыканные орудиями и казематами. Дорога вилась между сопки, единственная, по бокам торчали страшные сопки – Офицерская и Верблюды, и взять их было нельзя, можно было только накрыть огнем». Среди запоминающихся сцен – сдача в плен полуроты японцев: «Они выходили по одному и осторожно, все еще осторожно, свыряли винтовку в кучу и снова становились в строй, и только последний свырнул ее с силой, зло, не доходя до кучи, она воткнулась штыком и торчала при-



↑ Владимир Высоцкий и Михаил Анчаров. Москва, 1966 год. Политехнический музей. Фото Геннадия Гущина

кладом вверх, как на плакате. И он не встал в строй, этот последний, а снял свою желтую фуражку, похожую на жокейскую, вытер лицо и побрел прочь. Но подполковник испуганно окликнул его, и он вернулся в свою шеренгу». Теперь можно только гадать о том, где в этой повести – собственные воспоминания Анчарова, где – рассказы товарищей, а где – неизбежный художественный вымысел.

Песенное эхо

Песни он сочинял с 1937 года – сначала на стихи Александра Грина, Бориса Корнилова, Веры Инбер, потом на свои. Знаменитая впоследствии «Бригантина» на слова Павла Когана (как и Анчаров, военного переводчика) и мелодию Георгия Лепского тоже родилась задолго до войны. Но в домагнитофонную эпоху эти песни еще не оформились как особый культурный феномен, оставаясь скромным элементом городского фольклора.

В 1960-х с появлением Окуджавы, Галича, Высоцкого, Визбора, с одной стороны, и общедоступных магнитофонов – с другой бардовские песни захлестнули весь Союз. Вместе со стихами Вознесенского, Евтушенко, Рождественского, Ахмадулиной они кажутся советской версией западного рок-движения. А зачинателями этой песенной традиции следует признать Михаила Анчарова и Новеллу Матвееву.

Анчаров пел под немудреный семиструнный аккомпанемент – и песни уходили в народ: «МАЗы», «Большая апрельская баллада», «Баллада о парашютах», «Сорок первый», «Кап-кап», «Стою на полустаночке»... Галич говорил, что начал сочинять песни под влиянием Анчарова. На Высоцкого Анчаров повлиял сильнее, чем кто-либо другой, пусть позже Высоцкий и называл своим учителем Окуджаву. Мелодика, интонация, проблематика, темперамент Высоцкого куда ближе именно к Анчарову.



† Москва, 1966 год,
Политехнический музей.
Фото Геннадия Гущина

Из анчаровской «Баллады о парашютах» (1964):

*Парашюты рванулись,
Приняли вес.
Земля колыхнулась едва.
А внизу – дивизии «Эдельвейс»
И «Мертвая голова».
Автоматы вили,
Как суки в мороз,
Пистолеты били в упор.
И мертвое солнце
На стропах берез
Мешало вести разговор.
И сказал господь:
– Эй, ключари,
Отворите ворота в сад.
Даю команду
От зари до зари
В рай пропускать десант...*

Через пару лет в песне Высоцкого «Мерцал закат...», написанной для фильма «Вертикаль», появятся альпийские стрелки из горнопехотной дивизии «Эдельвейс». Еще позже он напишет о летчиках, без очереди, как анчаровские десантники, попадающих на небеса:

*Архангел нам скажет: «В рай будет туго!»
Но только ворота – щелк,
Мы бога попросим: «Впишите нас с другом
В какой-нибудь ангельский полк!»*



† Михаил Анчаров.
Освобождение
Маньчжурии

В финале анчаровской баллады мертвое светило воскресает:

*...И мирное солнце
Топочет в зенит
Подковкою по камням.*

Эхо этого образа – в «Черных бушлатах» Высоцкого, тоже посвященных десанту, только не парашютному, а морскому, в песне «Мы вращаем Землю»:

*Нынче по небу солнце нормально идет,
Потому что мы рвемся на запад.*

Анчаров спел о Канатчиковой даче – Высоцкий вслед за ним тоже. «МАЗы» переселились из песни Анчарова в «Дорожную историю» Высоцкого, анчаровское «Она была во всем права...» перевоплотилось в «Она на двор – он со двора...». Анчаров пел от имени танка, Высоцкий – от имени самолета; можно без труда найти гигантское количество более или менее очевидных переключек.

Может быть, самое ценное в песнях Анчарова – интонация. Слушаешь и понимаешь: это с тобой говорит мудрый и добрый человек. Так нечасто бывает – чтобы юмор без зубоскальства, чтобы грустно и весело одновременно. Вокальное, музыкальное и инструментальное несовершенство здесь только кстати: кажется, что ты просто сидишь за столом с близким человеком. То же обаяние – у прозы Анчарова, которая сейчас почти не переиздается, уйдя, как и песни, куда-то в тень. А когда-то его вещи то и дело печатались в «Юности», «Москве», «Смене», книги выходили одна за другой: «Как птица Гаруда», «Самшитовый лес», «Сода-солнце», «Записки странствующего энтузиаста», «Теория невероятности», «Золотой дождь», «Дорога через хаос», «Голубая жилка Афродиты»...

Естественное поведение

С юности его тянули к себе, кажется, все сферы искусства и познания. Еще до войны он поступал в Московский архитектурный. Позже – на художественный факультет ВГИКа, откуда перевелся в Институт имени Сурикова (окончил в 1954 году, дипломная работа – картина «Освобождение Маньчжурии»). Потом – курсы киносценаристов. Он будет сочинять все подряд вплоть до фантастики и оперных либретто, иллюстрировать собственные книги, вплавлять стихи в прозу. Семнадцатисерийная телеповесть «День за днем», поставленная Всеволодом Шиловским по сценарию Анчарова в 1971 году, – первый советский сериал. Его герои, жильцы коммуналки, изобретают вечный двигатель, доказывают теорему Ферма, совершают удивительные открытия.

Интереснее всего Анчарову было размышлять о тайнах творчества, познания, мышления. Лирик-шестидесятник и философ-романтик, он любил писать о физиках. Верил в неслучайность случайного, вероятность невероятного, озарение, наитие, которое выше логики. Сохранил по-детски чистый, непосредственный взгляд на мир («Вопросы называются детскими, когда на них взрослые ответить не могут»). Творчество Анчаров называл «наиболее естественным поведением человека» и понимал его не как сумму известного ранее, а как скачок в новое качество. Поэзию считал ни много ни мало катализатором биологической эволюции, Леонардо да Винчи – «первым нормальным человеком будущего».

В 1950 году Анчаров вступил в партию – не из конъюнктурных соображений, а из идеалистических. Его биографы пишут, что искренний патриотизм, верность советской системе сочетались в Анчарове с неприятием коллективизма. Наверное, это потому, что художник – всегда одиночка. Анчаров повторял: «Равенство – это разнообразие». Народ в его понимании – «племя вождей», где «у каждого самого малого» – свой царь в голове. Генерал-десантник из повести «Золотой дождь» говорит: «Коммунизм – это равные возможности, а не стрижка под нулевку... Коммунизм – это не общее корыто с даровой едой, а общая взлетная полоса».

Искусство тот же генерал назвал «десантом за красотой». Земной десант Михаила Анчарова оборвался летом 1990 года. Небесный – пусть продолжится.

Изображенный Анчаровым летчик-мечтатель по прозвищу Сода-солнце – ищущий, разбрасывающийся, не веривший в общепринятое, интересовавшийся всем сразу, – однажды пропал. Улетел к солнцу, растворился в слепящем блеске.

А потом, конечно, вернулся. Согласно той самой теории невероятности.



ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ОЛЕГ ПОСТНОВ: «Я ВЫДУМАЛ АВТОРА “КОНАНА ВАРВАРА”»



ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
Литературный критик. Родилась в Москве, окончила Московский педагогический государственный университет. Автор ряда публикаций в толстых литературных журналах о современной

русской и зарубежной прозе. Руководила PR-отделом издательства «Вагриус», работала бренд-менеджером «Реданции Елены Шубиной». Главный редактор издательства «Альпина. Проза».

Роман «Страх» Олега Постнова впервые вышел 22 года назад и мгновенно стал интеллектуальным событием. Тогда Лев Данилкин написал восторженную рецензию еще до появления книги в магазинах. В то время после рецензии Льва Данилкина тираж раскупался в течение двух дней. Поэтому издание романа «Страх» — радость и гордость издательства «Альпина.Проза». В дни non/fiction№24 Олег Постнов, который редко бывает на книжных ярмарках, прилетел из новосибирского Академгородка. И у читателей была уникальная возможность пообщаться с автором. Встречу провела Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина.Проза» и первый заместитель главного редактора журнала «Юность». Разговор вышел увлекательный и даже немного готический — нан сам роман Олега Постнова.

— Сейчас модно практически любой текст называть автофикшеном, но далеко не каждый художественный текст им является. Тем не менее понятно, что в каждом романе автор пишет о себе: напрямую или не напрямую. Насколько «Страх» вырос из вашей личной истории?

— Дело в том, что, начиная с полугодичного возраста, я жил несколько лет подряд в 70 километрах от Киева. Позже я проводил много времени в Киеве и в области. Там жили мои бабушка и дедушка, много двоюродных тетей и, соответственно, моих двоюродных сестер. И у меня скопилось много разных впечатлений.

Например, Юго-Западная железная дорога. Когда едешь из Киева или, наоборот, из Тетерева в Киев (Тетерев — это тот самый поселок, в котором я жил) полтора десятка остановок. Там протекает рена Тетерев, в ее честь и назван поселок, стоящий на самом краю огромного соснового леса. Мой дедушка был специалистом по лесному хозяйству, по так называемой подсочке — то есть собиранию сосновой смолы и т.д. У меня



были велосипед и дедушкины лесные карты, и я посещал много разных деревень. Могу сказать, не хвастаясь, что тогдашнюю жизнь тех мест я хорошо знал. Посмотрел, к примеру, хутор на берегах Динаньки. Натолкнулся на всевозможные вещи, которые в моем романе есть. Я отношу их к разряду оккультных, отчасти религиозных, но не традиционной религиозности. Поэтому я описал не совсем Тетерев, я создал его собирательный образ, довольно сильно изменив архитектуру поселка. Тамашние мои знакомые, конечно, легко поймут, что это я взял отсюда, а вот это — оттуда. А вот что я не поменял — так это архитектуру Киева, только воскресил дореволюционные названия.

А дальше вышло следующее. Дедушка главного героя написан непосредственно с моего. И, кстати, по этому поводу ко мне были претензии: читателям показалось, что в украинской деревне не может быть такого интеллигентного дедушки. Но дедушка был действительно тем, что называется «деревенской интеллигенцией». Он свободно владел несколькими языками, которым учил и меня. В том числе и церковно-славянским, отчасти польским. Он только по-украински со мной говорил. И отдавать дедушку герою было страшно жалко.

Что касается самого героя, он не списан с меня. Мне нужен был персонаж, который участвовал бы в черной свадьбе, описанной в романе и вызвавшей споры у киевских рецензентов, считавших, что написанное мною могло случиться в Галиции, но не в Киевской области. А я-то видел это все своими глазами. Итан, черная свадьба. Описать сам обряд было нетрудно. Трудно было найти героя, сделать его таким, чтобы он мог сыграть там действительно страшную роль. В реальности участник не был человеком со стороны, а мой герой москвич. Я ему придумал семью. Мой отец — филолог, как и я, — общался со многими интеллигентными людьми, из чьих образов я собрал персонаж отца моего героя,

вынужденного подолгу жить на Украине и постоянно возвращаться в Москву.

А девушка, в которую влюблен герой, — моя фантазия. Для сюжета мне было необходимо смешать языческие, католические и православные мотивы. Девушка участвует в языческих культах, но при этом она себя считает католичкой. Главный герой, хотя он скорее просто мистик, легко верит в такого рода вещи. Хотя должен сказать, я в них тоже верил. И, вероятно, тоже являюсь мистиком в этом смысле. У меня было довольно много знакомых католичек — как ни странно, в Новосибирске. У нас там был одно время очень интересный католический приход. Туда съезжался весь Новосибирск. Это был скорее клуб по интересам, связанный с религией, не обязательно с католической. Тамшний священник так поставил дело, что там встречались представители любых конфессий и даже атеисты. И происходили интересные встречи. И я не могу ответить точно на вопрос, в какой мере встреченные там девушки дали мне возможность нарисовать образ героини. Мне кажется, что все-таки я ее выдумал, а не с кого-то списал. Хотя подсознание штука хитрая.

— *А зачем вам прием двойного рассказчика? У нас есть герой, который рассказывает историю киевскую и московскую, и рукопись, приобретенная в антикварной лавке другим рассказчиком. То есть двойная рамка. Что вам дал этот прием для романа?*

— Дело в том, что на самом деле там не два рассказчика, а три, потому что есть вторая часть. И мне нужен был кто-то, кто объединит эти две части. Я не мог это сделать каким-то единственным текстом, где я полностью отсутствую. Тем более что все американские главы и то, что происходит в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, и этот магазин (я прожил 1993 год и часть 1994 года в Нью-Джерси) описаны очень точно. И даже тот самый букинист из романа действительно существовал. И у него были русские рукописи. Он мне их не собирался отдавать или продавать. Просто меня поразило, что они у него есть. В Нью-Джерси достаточное количество мигрантов тогда было, и рукописи попадали ему в руки просто так. Это меня натолкнуло на мысль, что я совершенно спокойно могу его взять в качестве вводной фигуры. А уж потом я решил, что, просто с него начав, тут же его бросить неинтересно, и в нужный момент я его свел со своим героем.

В романе есть и другие невымышленные ситуации, если говорить об Америке. Это человек, которого встречает главный герой после событий 1993 года: русский, но родился в Харбине, принадлежал ко второй волне эмиграции и приезжал в Академгородок на конференцию как славист. Там я с ним познакомился, а как только он узнал, что я буду в Соединенных Штатах, он меня, естественно, пригласил к себе. А мне он был совершенно необходим. Роман называется «Страх», и в его финале есть фраза «Страшная месть». Герой работает в русском издательстве. И реальная ситуация: в Нью-Йорке хотели издать мою книгу, но как раз в этот самый момент в России перестали существовать запрещенные книги, и издательство начало прогорать. Они были очень довольны тем, что я им предложил, но издать они это не сумели. Зато у меня появилась возможность это описать: посадить туда своего героя в нужный момент.

У меня была очень хорошая возможность посмотреть Америку. Я там был в гостях у своего состоятельного друга, у меня была машина с шофером. Я делал все что хотел, ездил туда, куда ездить нельзя, смотрел на то, что русским туристам, да и любым, по-моему, туристам, смотреть

не полагается. И вот, получается так, что этот человек в моем романе играет ту же роль, которую играет в конце «Страшной мести», помните? Там звучит довольно странное: «За царем Семеном». Имеется в виду, конечно, король польский, мне нужна была королевская фигура. А этот американец — потомок одного из членов сибирского правительства, смещенного Нолчаном. И его родители уехали в Харбин, где он и родился. Так вот, мне нужна была эта королевская фигура, и я сделал его королевской фигурой. Он очень хорошо ложился на такой образ.

— *Что для вас страх? Сначала кажется, что наиболее точным названием этого романа будет «Одержимость», многие об этом говорили, но все-таки в название вынесен именно страх — почему?*

— Однажды мне понадобилась целительница. Чем славится Украина? Нонотопскими ведьмами, киевскими ведьмами. Киев, кстати, по-разному кончается, в некоторых местах есть пригороды, а в некоторых местах просто сплошной огромный зеленый газон, за которым стоит лес. Соответственно, есть такая окраина, по которой едешь от Днепра на запад и изумляешься, глядя по сторонам: слева от тебя тянется город, а по правую руку то, что у нас называется «частным сектором» — одна за другой усадьбы настолько ведьмовские, насколько это только можно себе придумать. Киев я облазил со всех сторон, и с этой стороны тоже. Логичнее было бы начать с Тетерева, но вот как раз Тетерев — это совершенно чистое в этом смысле место. Украинская часть моей семьи имеет прямое отношение к созданию именно этого поселка, потому что там песок, ничего не росло, не было садов, но мой дедушка, который был лесоводом, посадил там первые сады. И теперь это такой же поселок, как и другие украинские. В романе я описываю некую украинскую писательницу. Действительно, одна украинская писательница жила в трех дворах от нас, и я очень много у нее разузнал. А ведьм не было, и поэтому пришлось обращаться вначале в эти дворы.

Зашел в первый попавшийся: ударяешь по ложечке, раздается звон. Собани гавкают, но не нусаются. И можно просто спросить: «Не подскажите, где-нибудь у вас нет старушки, к которой можно обратиться за лечением?» Говорят: «Вы знаете, у нас есть такая, раньше говорили "ведьма", сейчас так не говорят. Это вот через три двора от нас, пройдите, там найдете». Так началось мое путешествие по разным бабушкам. Эти бабушки по большей части достаточно страшные люди.

Например, по дороге из Киева в Борисполь есть геологический поселок Бортнички. Между двумя дорогами находится лес. И в этом лесу частный сектор. Причем там есть избушки на курьих ножках, а в этих курьих ножках живут соответствующие бабушки. А так как в поселке геологов жила моя тетька, я когда в очередной раз приехал к тете, зашел в частный сектор с вопросом о целительнице, и мне старушка говорит: «Вот моего внучка вылечила соседка, но только не знаю, захочешь ли ты идти, она черная». Я говорю: «Как, черная?» — «Ведьма черная». Я говорю: «Все равно может вылечить?» — «Вылечить может, внук бегаёт здоровый. Зайди, скажи, что я тебя послала, а она тебе сама все скажет». Я легко ее нашел: захожу — бабушка, довольно тяжелый взгляд. Говорили, что у нее нехорошие глаза: молоно киснет, если она поглядит, как доят корову, и тому подобные вещи. Я сказал от кого, она говорит: «Ты тоже лечиться?» Я говорю: «Не знаю». Она говорит: «Дело в том, что я лечу нечистой силой». Я говорю: «А это как-то ощущается, что это нечистая сила?» — «Да, ощущается. И ты почувствуешь, если согласишься лечиться». Я согла-

сился и спросил, сколько это стоит. А она цитирует из Евангелия: «Даром получили — даром давайте». Я говорю: «Это Евангелие». Она говорит: «И что, что Евангелие? Сила-то все равно черная».

И в назначенное время (кстати, интересное время, сумерки, не вечер, не день, а смеркается) я прихожу к ней, она меня усаживает в центре комнаты. Прямо передо мной просто стена, а за мной вторая половина комнаты. И она говорит: «Что бы ни случилось, если тебе вообще хочется здоровья, а не нездоровья, ты не оглядывайся». Я говорю: «Я надеюсь, там меня никто сзади не пристукнет». — «Нет, не пристукнет, но есть желающие обернуться». И вот она стоит сзади, шепчет по-украински. Я с ней говорил по-русски, она, может быть, думала, что я не понимаю, что она говорит. Я заговор, который она говорила, неплохо представлял по украинской этнографии — совсем обычный, ничего сверхъестественного, его с вариациями можно просто вычитать в литературе.

Но вот дальше было такое впечатление, что откуда ни возьмись появилось огромное количество самых разных животных. Бабушка говорила: «черти». Нание, понять очень трудно: скребется, топочет, грохочет, да еще через некоторое время начинает веять сверху, как будто от летучей мыши, причем от большой летучей мыши. Где-то с полчаса все это продолжалось, и когда все закончилось, просто стихло, как будто свет на какой-то момент включили, а потом выключили — все исчезло в одну секунду. Она говорит: «Можешь смотреть назад». Я оборачиваюсь: ничего — как было, так и есть. Все это время она провела стоя. Причем, как я понимаю, довольно далеко от меня, где-то около противоположной стенки. И она мне говорит: «Ты не из черных. Помочь они тебе помогут, но, во-первых, не сейчас, во-вторых, не они сами. То есть никакой связи с ними не будет. А теперь уходи быстро, пока не стемнело, чтобы ты уже был дома». Я выхожу, там уже темень, я быстро домой. И через несколько месяцев мне уже в Новосибирск звонит моя тетька: нашла какую-то экстрасеншу, которая возьмется за мою проблему. Я впервые поехал в Киев зимой. Меня там действительно вылечили. Я таких историй могу рассказать довольно много, и некоторые из них я описал.

— Да, да. Это, конечно, мощнейшая готическая традиция.

— И самое интересное там — то, что все это было нормальным для окружающих. Они относились к этому как к явлению обыденной жизни: «Ну, необъяснимое. Мало ли в жизни необъяснимого? Может быть, наука еще не дошла».

У другой бабушки, когда я там оказался, была огромная толпа народа. Она ездила с милицией отыскивать погибшего человека, потому что знала, где находится тело, — чувствовала приблизительно, где оно находится. И действительно нашла. Она молилась перед образами, а не черной силой действовала. Молитвы читала обычные, православные, не на старославянском, а по-украински. И вот она стоит на коленях, молится 10–15 минут. Затем внезапно поворачивается ко всем окружающим и говорит: «Знаете, сегодня как-то очень тяжело идет. Кто-то здесь есть некрещеный». Некрещеным оказался я, все на меня накинулись: «А что это ты некрещеный?» А там люди не деревенские — некоторые из Киева приехали на своих черных «Волгах». Я говорю: «Понимаете, я из новосибирского Анадемгородна, там очень трудно церковь найти. У нас все больше НИИ. НИИ — пожалуйста, а церковь — это куда-то за город надо ехать, мы обычно не ездим». Она меня не прогнала и поставила мне диагноз правильный. Но сказала, что вылечить не может.

Эту атмосферу я постарался передать на материале своих воспоминаний, и поэтому я назвал роман «Страх». Это, конечно, лишь одна сторона значения, потому что еще мне нужна была связь со «Страшной мезью», и третье — непрерывный страх героя потерять свою возлюбленную. Но несмотря на это, когда роман только появился, было несколько рецензий, где меня пытались сравнивать с Нингом. Меня совершенно это поразило, потому что только по названию это можно сделать. А потом появились уже литературоведческие работы, и там все было анкуртно.

— *Данилкин вас назвал русским Борхесом?*

— Да. Литературоведы писали о моем гоголевском изображении Ниева. А так меня сравнили, наверное, со всеми русскими писателями XIX века. Я помню восхитительную совершенно рецензию в Playboy, где написали: «Постнов знает какие-то мышьиные или кротовые ходы, где, залезши в гоголевский, можно попасть в бунинский текст, а оттуда совершенно легко перебраться под землей в Эдгара По или в Лавкрафта». Я представил себя в качестве крота, мне понравилось. Мне казалось, что этот стиль восходит к литературе XIX века. Я специалист по Гончарову, но не Гончаров на меня более всего повлиял, а как раз те писатели, которых не знают: второй, третий ряд русской литературы. Он на самом деле великолепен, но его закрывают наши десять главных. Например, Писемский. Много ли найдется людей, которые читали полного Писемского? Я его читал, и не только Писемского. Есть писатели, фамилии которых просто, скорее всего, ничего не скажут. Например, Михайлов. Писатель скорее третьего ряда, тем не менее он блестяще владел стилем. Не знаю, вспомнит ли кто-нибудь, был такой очень печальный и, кстати говоря, достаточно страшный писатель Хронин. Сама судьба его была ужасной. Вот он тоже в большой степени на меня повлиял. Причем мне совершенно случайно попался его двухтомник 1950-х годов, и я, как ни искал библиографию, кроме только некоторых антологий, где публиковали один-два рассказа, больше ничего не нашел.

И вот такого рода писатели влияют не стилем даже, а подходом к работе со словом.

На самом деле я немножко экспериментировал со стилем. Но времени написания «Страха» я просто не мог взять ничей текст, не переделав его. Внутри романа часто встречаются такие места. И я потом читал в интернете, кого-то это очень раздражало. Половина цитат, которые там кем-то обозначены, придуманы мной. Таких текстов вообще просто нет у этих писателей. А еще есть писатели, которых я выдумал, а заодно и их тексты.

Например, была смешная ситуация. Вышел роман, и появилась большая рецензия на него в «Новом мире» — десять страниц, может быть, даже больше. Автор рецензии писал, что я Говарда придумал, поскольку он смотрел по учебникам американской литературы и никакого Говарда там не нашел. А Говард, помимо прочего, — второе имя Лавкрафта. А Роберт Говард значит тем, что написал «Нонана Варвара». И как раз в 2000 году все прилавки в метро были завалены этим самым «Нонаном Варваром», потому что по телевидению в то время шел одноименный сериал. Мне хотелось, как в анекдоте, позвонить и спросить: «А где я могу получить свою долю?» Если я придумал Говарда, а он придумал это все, то получалась немалая сумма.

ЗОИЛ

РОМАН, НАПИСАННЫЙ ЧЕРНИЛАМИ ОСЬМИНОГА



СТЕФАНИЯ ДАНИЛОВА
Петербургская поэтесса
и критик. Основатель продю-
серского центра «Всемир-
поэзии» и одноименного
международного фестиваля.
Лауреат Молодежной премии
правительства Санкт-
Петербурга.

К этой рецензии ваша покорная слуга подступалась небыстро. Не как цунами, о котором идет речь в «Осьминоге», а как осторожно пробующая сушу еще светлая волна, в которой нет ничего угрожающего. Бестселлер Анаит Григорян — из тех книг, что, уместившись после прочтения в память, долго отлеживаются там. Происходит процесс смакования, формирования глубокого неизгладимого впечатления. В английском языке есть аналог последней метафоры: *leave a tremendous impression*. Оно здесь релевантно. В японском тоже есть нечто подобное: «низнай инсе:» (消えない印象) — буквально «неугасающее впечатление», что-то вроде постоянно теплящегося пламени.

Главный герой... хотя стоп. Стоп! Не все так просто. Человек, вокруг которого разворачивается сюжет, — наш, из России, по имени Александр, или, на местный манер, Арэнусандору-сан, ведь в японском языке отсутствует звук «л». После истечения срока контракта его вежливо просят из банка, где он работал, и у него есть пара недель, чтобы оттянуться в Японии и уехать в Россию. Александр выбирает отправиться на провинциальный остров Химанадзима, и там с ним начинается происходить что-то странное.

Книга выстроена таким образом, что читатель постоянно пребывает в высоковольтном напряжении, словно в ожидании Годо, только в ожидании осьминога. Причем обязательно фэнтезийного. Сказочного. Легендарного. Не знаю, как это удалось Анаит Григорян, но предвосхищение мистической прозы так и мерцает в романе из каждой строки. Хотя роман максимально реалистичен и бытописателен. Офисные работники, забегаловки с едой, пьяные девицы за барной стойкой, съемное жилье. А это что? А, это молельня древнего божества Хатимана. Но она тоже — часть обычной жизни. Есть же у нас церкви и часовни. Правда, мы помним

особое отношение японцев к духовной жизни, для них это не просто ритуал «для галочки».

Всю книгу напролет я ждала появления Осьминога. Но он не являлся и не являлся. Вот он промелькнул: в стеклянном аквариуме, ждущий своей безвременной кончины в местном ресторанчике «Тано», название которого также переводится как «осьминог». Его выкупили и отпустили. Где же его огромные щупальца до небес, способные сжать земной шарик и раздавить? Я ждала, что реализм возьмет верх и превратится в откровенный легендарий, мистику, сказку. Так оно и случилось, но спустя месяц после прочтения мною книги. Блестящая писательская и этнографическая работа Анаит Григорян выполнена тонко, изящно, подобно каллиграфическому написанию иероглифов чернилами осьминога. «Вау-эффект» с оттяжкой. Ретардантный, если изъясниться терминологически.

Все на Химакадзиме завязано вокруг осьминога: его там едят, ему молятся, его боятся, о нем ходят слухи и легенды. Но иногда бывает так, что смысл неочевиден. Он выявится, если расфокусировать взгляд и посмотреть немного в другую сторону. Он настолько на поверхности, что как бы и не спрятан вовсе. И именно в нем — настоящая власть и неподдельный ужас. Хоть и скрыт он за поддерживающими словами, приятной улыбкой и услужливостью... каной-то слишком милой для того, чтобы быть просто типично японской. Ведь предельно вежливы и корректны все японцы. Ну или почти все. Но... этикет и предугадывание малейших всплывших в голове желаний — это кардинально, полярно разные истории.

Я осеклась, начав говорить о главном герое. Роман выстроен так, что Александр на самом деле — обманка. В центре внимания, безусловно, он, но серый кардинал осьминожьего пиршества на Химакадзиме — совсем другой человек. Влюбленная в Александра арендодательница Изуми-сан, трагически потерявшая мужа? Холодно. Персонаж прекрасный, выписанный подетально, ей хочется написать в мессенджер и приободрить, и как же радуешься, когда у них с Александром закручивается романтическая интрига! Хм, а может, это Такизава-сан, не в меру щедрый, в прямом смысле слова разбрасывающийся айфонами в подарок симпатичным девушкам — но не с целью задрать их, а как раз по принципу «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы на меня не вешалось, потому что я безумно люблю свою Ерино»? Чуть теплее, но все еще холодно, — это, конечно, весьма колоритный герой, которому легко симпатизировать, с такими хочется дружить и работать, он по-своему выдающийся, но, но, но...

...А кто это стоит за барной стойкой и смешивает коктейли? Представителей этой профессии в мире — с миллиард, если не больше. Его волосы выкрашены в модный рыжий, сам он — типичный японец, никаких отличительных черт. Но откуда же он словно знает подноготную всех остальных? О чем болит душа у этого героя, что скрывает героиня? О чем вы думаете? Чего вы хотите? Откуда-то ему известно и прошлое, и будущее. По мере того как читатель погружается в историю официанта Кисе Наматы, он упорно пытается убедить себя в том, что перед нами — просто очень эмпатичный человек, просто очень внимательный, просто разбирающийся в людях, просто, быть может, он скрывает то, что учился на психолога (нет), просто...

А вот ничего простого в этом персонаже нет. Если взглянуть повнимательней, можно увидеть то, о чем лучше вообще никогда не знать. Уголовник? Тайный агент? Черный маг? Киберпреступник? Экстрасенс?.. Я попыталась наметнуть вам на правду, не выдав ее и постаравшись

ни в чем не солгать, но настоящую роль Нисе называть ни в коем случае нельзя. «Тот, Ного Нельзя Называть» из другого легендарiums сразу приходит на ум. И не просто так. И здесь великая заковыка ожидает господ рецензентов, потому что сорвать покров тайны с персонажа Нисе означает проспойлерить весь роман и заведомо убить в читателе тот вау-эффект, ради которого он откроет эту книгу и будет там пить с Арэнусандору-саном виски, попадет в шторм, разрушающий остров, узнает множество чужих трагедий и загадок...

Эта книга словно написана одновременно двумя стилями письма: хираганой и катананой (это две слоговые азбуки японского языка). Сначала мы думаем, что книга про такого-то героя и про такой-то сюжет, и все довольно просто, но, лишь освоив ее до конца, пройдя свою «личную Химанадзиму» (надо же, почти как «Хиросиму» звучит!) от берега до берега, мы понимаем, что подлинный смысл все это время ускользал от нас, как осьминог, сбегаящий из разбитой глиняной ловушки в нахмурившееся море, готовое выругаться по-японски самым мощным цунами за всю историю человечества...

Что же, знаменитому прозаину Анаит Григорян вновь удалось совершить невозможное. Многие книги подобны ярким вспышкам, которые мы видим во время чтения, и искры этого безумного салюта опадают лепестками с черного неба вниз, и мы потом не вспоминаем, что был такой яркий свет. А книга «Осьминог» похожа на приглушенный свет лампы, чья мощь выкручивается на полную, когда вещь прочтена некоторое время назад, — и вдруг как взрывается тысячами киловатт озарений, и ты ничего не можешь с этим поделать.

Искренне рекомендую «Осьминога» всем тем, кто мечтает познакомиться с японской прозой, написанной не японкой, но как будто бы японкой. Так, что удивляешься, почему у Анаит Григорян армянское имя и пишет она на русском языке. Всем тем, кто зачитал до дыр Харуни Муранами и уже подустал от его прекрасных, но однотипных заворотов сюжета. Всем тем, кому новая японская проза типа Саяна Мурата «Человек-комбини» показалась внушной, но несколько поверхностной. Тем, кто удивлялся в литературе столько раз, что практически приобрел иммунитет к этому бесполезному, но очаровательному навыку.



БУНТ СЛАВЯН, ЦЫГАН И ЕГИПТЯН: КНИЖНЫЕ ФЭНТЕЗИ- НОВИНКИ



ДЕНИС ЛУНЬЯНОВ
Родился в Москве, студент-журналист первого курса магистратуры МПГУ. Ведущий подкаста «АВТОРизация» о современных писателях-фантастах, внештатный

автор радио «Нига» и блога «ЛитРес: Самиздат». Сценарист, монтажёр и динтор радиопроентов на студенческой медиаплощадке «Пульс», независимый автор художественных тенстов.

КРИСТИНА РОБЕР, «ПРЕДАННЫЕ. ЛАБИРИНТЫ ПАМЯТИ» («МИФ»)

Нина поступает учиться в элитную школу-пансионат «Форест Холл». Среди золотой молодежи ей непривычно: до этого она шаталась по улицам, клубам и барам, жила без родителей. Так что теперь Нина ведет себя как дикарка-бунтарь: не носит школьную форму, резко общается с одноклассниками. Причиной тому, конечно, не просто дурной характер, но и много произошедших в жизни неприятностей... Впрочем, Нине и Аленсу — любимчику девушек — вдруг становится не до учебы. Оказывается, в «Форест Холле» раз за разом при таинственных обстоятельствах погибали ученики. К тому же Нине приходит письмо от давно потерянной бабушки и приглашение на бал от отца... А еще она находит свою могилу. В буквальном смысле. Как связать все это воедино и принять сущность, что дремлет внутри? Сущность, из-за которой от Ники отназалась мама.

Первая часть трилогии Кристины Робер «Преданные» напоминает сериал от Netflix — типа «Wednesday», «Элиты» или «Сабрины». Это классический жанр dark academia — школа, постепенно развивающиеся отношения между учениками, сцены в женских и мужских комнатах, вечеринка в честь Хеллоуина, танцы на День святого Валентина под «Imagine dragons»... Нормче говоря, молодежный сериал. С той лишь разницей, что читателю постоянно намекают: что-то тут не так. Какой-то это не такой реализм. «Лабиринты памяти» сперва прикидываются реализмом со странностями, а потом уверенно встают на рельсы фантастики. Оказывается, что есть некая Огненная и Небесная Земли, этикие альтернативные миры. И Нина с ними определенным образом связана... При этом фантастика сплетается с суровым реализмом очень красиво и умело: нитки, соединяющие все задумки воедино, в руках Кристины Робер не белые, а подо-

бренные по цветам тан, чтобы швов не было видно. Огненными шарами никто кидаться не начнет, Саруман посреди улицы не возникнет, да и сова, увы, не принесет письмо в школу волшебства.

Роман написан очень живо и натурально. Не чувствуется фальши. Даже в эмоциональных моментах «на надрыве», когда вроде бы можно подумывать: ну нет, в жизни так не бывает! Бывает, и еще как. Впрочем, тут есть нюанс: сюжетная динамика романа иногда чуть проседает, но это с лихвой компенсируется динамикой отношений между персонажами. Кристина Робер написала скорее о том, что творится в головах. Внешние события — просто необходимый фон. Как формочка для кекса, без которой тесто растечется. «Лабиринты памяти» — книга-знакомство, где всё потихоньку встает на свои места. Кристина Робер не попадает в ловушку под названием «скучное начало трилогии». Книга читается влет: слишком уж много загадок, которые нужно понять. Например, кто такие безликие? И почему Алексу снятся кошмары, где он... убивает?

«Лабиринты памяти» — роман, на них молодежной фантастике не хватает: дерзкий, не боящийся показать самые черные стороны жизни. Будь то изнасилование, непредвиденная беременность или человеческая жестокость во всех проявлениях. Хлестно, красиво, просто — вот рецепт «Лабиринтов памяти». Во многом благодаря главной героине. Будь она милой тихоней, слог романа бы ушел в ноль. А так только подстегивает читать. Книга Кристины Робер чуть напоминает пелевинскую «Empire V» для тех, кто помладше, или «Часодеев» Натальи Щербы для тех, кто постарше. Еще сюда филигранно вписаны романтика и легкая эротика: хорошо написать откровенную сцену любой степени тяжести — дело непростое.

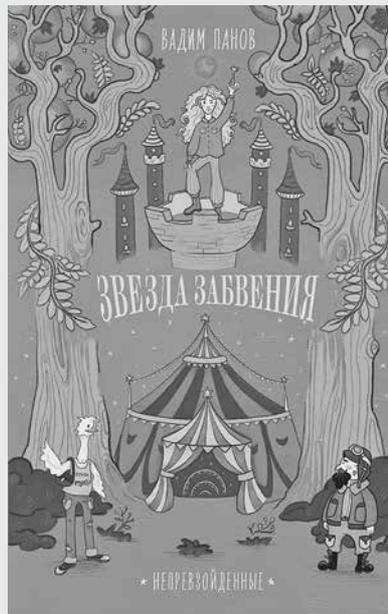
И уж если к середине книги начинаешь нашептывать герою: «Давайте уже, целуйтесь, встречайтесь!», значит, шалость удалась.

ВАДИМ ПАНОВ, «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ. ЗВЕЗДА ЗАБВЕНИЯ» («АЛЬПИНА.ДЕТИ»)

Прелесть — дивное место, путь куда открыт немногим. Это страна, которую «взрослые давно позабыли» — может статься, что та самая «маленькая страна» из небезызвестной песни. В Прелести живут гномы, мафтаны (прелестные магические животные), русалки, вишневые штыры (кто бы это ни был) и, конечно, феи. В Прелести есть магия, а еще — волшебные трамваи. Но существует у Прелести и темное отражение — жуткая Плесень, концентрация всего подлого, мерзкого и ужасного.

Ириска и ее сестра Полина узнают о прибытии чудесного цирка «Четыре обезьяны» и попадают в Прелесть, чтобы посетить представление. Для этого у них специальный ключ. Да только все шоу оказывается ловушкой черного колдуна Захариуса, вступившего в сговор с королевой Плесени, чтобы захватить Прелесть и стать ее королем. Ириске удается спастись, но она теряет память. Девочке нужно заново научиться колдовать, спасти сестру и помешать Захариусу. Не без помощи новых друзей: механика-гения Петровича, говорящего страуса Хиша и белочки-оборотня Рычи.

Если после описанных выше событий перед глазами рисуется яркий динамичный мультимедийный анимационный фильм а-ля Pixar или «Человек Паук: через вселенные», все правильно. Так оно и есть. «Звезда забвения» — первый роман из детского цикла Вадима Панова, известного прежде всего своими взрослыми книгами. Это вполне сказочная история, превращенная



в полноценный роман. Текст буквально сочится красками и событиями. «Звезда забвения» в целом очень напоминает ярмарочную карусель. Герои не успевают выбраться из одной передраги, как тут же попадают в другую: спаслись из цирка и тут же подверглись нападению летучих мышей, оказались на летающей машине «Бандура» и тут же вляпались в новую передрагу, повлекшую за собой «осаду» города. Текст не думает останавливаться до самого финала, да и развязка у романа, скажем так, с двойным дном: потому что настоящие черные колдуны просто так не сдаются! Параллельно с сюжетом проясняются «законы», согласно которым работает мир — плавно, не мешая повествованию. Ну а эншен с клоунами, силачами и дрессированными животными — отдельный вид наслаждения.

Дайте автору ножницы, баночку клея и листы цветного картона — и получите что угодно! В том смысле, что Вадим Панов всегда может из подручных средств сделать ярких и фактурных запоминающихся персонажей. И дело касается не только характеров, но и внешности. Так и тут, Хиш — очаровательный болтун, Петрович — суровый с виду, но добрый в душе, Захариус — настырный и чуть неуклюжий, а королева Гниль — ужасающая до мурашек. Чего уж говорить о шпрыхстальмейстере-орангутане! Тут все в лучших традициях взрослых романов Вадима Панова. Не изменяя себе, автор даже в «Звезду забвения» вводит легкий, но ощутимый социальный подтекст: мир на грани войны, и феи могут победить, только прекратив междоусобицы (и перестав постить фотографии в «ПрелеСети», местном аналоге интернета). Но это не мешает роману быть доброй и увлекательной сказкой. Особенно с учетом того, что Вадим Панов не упускает возможности подкалывать и героев, и читателей. Шире улыбки, ведь великолепный цирк уже в городе!

ЕКАТЕРИНА ЗВОНЦОВА, «СЕРЕБРЯНАЯ КЛЯТВА» («ЭКСМО»)

Когда-то царство Ардария было единым целым, но раскололось надвое: на лунное и солнечное царства. Так сильны были теологические споры. Но наступила Смута, и на престол солнечного царства претендуют королева-самозванка и ее сводный брат-возлюбленный. Солнечному царству придется заручиться помощью язычников из Пустоши Ледяных Вулканов. Так и встречаются воевода Хельмо и командующий Янгрэд — им предстоит поднимать народное ополчение и бороться за судьбы — всего народа и свои собственные. Ведь тот, кого считали «чужим» и динарем, может оказаться самым родным человеком.

«Серебряная клятва» — фэнтези, насыщенное параллелями и словно находящееся в лабиринте кривых зеркал, состоящее из отражений реальных событий. Понятно, что история базируется на исторической русской Смуте. Но есть в романе много других отражений — или, как говорит Галина Юзефович, колокольчиков, которые звенят и заставляют читателя думать «где-то я такое уже видел». В наличии реверансы в сторону самой известной хитрости Троянской войны, судьбы Атлантиды, прозвища Людовика XIV, да и других книг автора. Например, к пантеону богов из «Берега Мертвых Незабудок». Кстати, действия обеих книг происходят в разных частях одного и того же мира. Упоминается в романе и двуглавая Златоптица, которая дается в руки лишь царю и некоторым его приближенным, — не нужно комментариев, чтобы понять, что это за птица такая.

Текст романа абсолютно «вкусный», со стилизованными вставками словно бы из баллад в прозе. В красоте образов Екатерина Звонцова себе не изменяет. Первая часть книги кажется чуть затянутой (особенно по сравнению с остальными), зато смачных сцен в романе — хоть отбавляй: начиная с первого знакомства с лунными королевой и королевичем и заканчивая царским посмертием.

Ардария — это своего рода Рим, расколовшийся на две части: более грубую и более утонченную. Но тут все не так просто. Выходит своеобразная метафора с двойным дном: с одной стороны, это явная аллюзия на Европу и Русь времен Смуты, с другой — на восточную и западную Римские империи. Только в нашем мире людей-людоедов с крыльями не было. А в «Серебряной клятве» — есть. И, кстати, их командир Цу — пусть и эпизодический, но очень яркий персонаж.

Главный теологический спор, из-за которого давно и случился раскол, — какой свет воскресил бога, солнечный или лунный? В этом и многих других смыслах роман перекликается со «Львами Аль-Рассана» Гая Гэвриеля Нея, только «Серебряная клятва» — текст, как говорится, а-ля рус. У Нея верят в солнечного бога, две луны и звезды, у Екатерины Звонцовой — в солнечный свет, лунный свет и огонь языческих богов. У Нея люди противоположных верований становятся друзьями, у Екатерины Звонцовой — тоже. Говоря иначе, напрашивается еще один слой в и без того насыщенный роман. Впрочем, незачем распутывать клубок смыслов «Серебряной клятвы» — их слишком много, и пусть каждый найдет свою красную путеводную нить.



ВАСИЛИЙ РАКША, «ПЕСНИ РАДОСТИ, ПЕСНИ ПЕЧАЛИ» («МИФ»)

Пятимирье — «вселенная» пяти культур, вдохновленных земными: шумеро-аннадской, персидской, греческой, скандинавской и славянской. И вот в Буян-град — жемчужину Пятимирья — свататься к царевичу Елисею приезжает княжна Ладмила. Ей предстоит познакомиться со странными вкусами суженого, другими избранницами, райскими девами-птицами и нравами Буян-града. Но тут убивают посла из Эллады, а в Буян-град возвращается юноша, который называет себя наследником царя Салтана, правителя. Интриги среди людей, интриги среди богов — и нет от них покоя.

«Песни радости, песни печали» — текст, собранный очень мудро и умело: со множеством подтекстов и подводных течений. Это, с одной стороны, нетривиальный ретеллинг «Сказки о царе Салтане»: бочка в наличии имеется (и стихотворный вариант сказки, прекрасно стилизованный под Пушкина, тоже). С другой же стороны, роман — большое исследование об истоках любой культуры. Есть острое ощущение, что Василий Ракша читал Шпенглера или Тойнби: центральными оплотами выдуманного мира становятся пять великих земных культур, чуть переименованных. Буян-град же — в некотором смысле Вавилон эпохи расцвета: богатая, величественная столица, величайший город мира, полный пороков и наслаждений, дурмана «зелья» (местного наркотика) и сладких зарубежных фруктов. Классический Вавилон в книге тоже есть.

Дебютный роман Василия Ракши вроде бы надо назвать славянским фэнтези, тут по документам все чисто. Но книга настолько непохожа на другие из этой же жанровой ячейки, что язык не поворачивается. Читателя преследует скорее не *мифологически-славянская*, а *сказочно-славянская* атмосфера. Хотя богам — из разных мифологий — в книге

отведено особое место. Историчный Перун особенно прекрасен. Здесь есть и стимпанк-элементы: автоматическая подача книг, медные рычаги для регулировки воды в купальнях, буры, вдохновленные наблюдениями за моллюсками, пожирающими древесину... Некоторые технологические чудеса действительно существовали — вспомнить хотя бы купальни царских дворцов в земном Вавилоне. Вдобавок Василий Ракша с ловкостью трюкача умело перекладывает современные «фишки» в иную эпоху: тут и методы криминалистики встретятся, и та самая комната мистера Грея из того самого фильма появится. В Буян-граде, правда, эту роль исполняет Сад Наслаждений сладострастного царевича.

«Райские птицы» — Сирин, Алконост, Гамаюн — образы весьма заезженные, но Василию Ракше удается и на них взглянуть по-новому. Каждая птица родом из какой-то одной «культуры» Пятимирья, но судьбы их переключаются; судьбы обращенных в тех, кто они есть сейчас: по собственному желанию, чтобы спастись от жестокого отца, или злым проклятием после сорванной свадьбы. «Песни радости, песни печали» — бодрая и насыщенная история, где чуть ли не каждая глава оканчивается клифхенгером, а внимание уделено не только хитросплетению сюжета, но и персонажам. Герои здесь, к слову, далеко не заводные солдатики, двигающиеся ровно до тех пор, пока продолжается сюжет. Вытащи их, поставь на полну — и они не утратят всего объема характеров.

ТОМ БЕЛЛ, «ГОРОД ЗВЕЗД» (RUGRAM)

После великого раскола боги, создавшие мир, пропали — и никто не знает куда. Кто-то говорит, они умерли, кто-то — просто ушли. В любом случае свято место пусто не бывает — и места богов заняли Поднебесье и Пенло... Родную деревню Ярослава сжигает дотла воинственная Орда, служащая Пенлу, а его подругу, Машу, динари уводят в рабство и клеймят. Спасаясь, Ярослав встречает мудрого старца Яромира и говорящего нота Черныша. Оказывается, что вся суэта началась из-за фигурок-идолов богов, одну из которых отец отдал мальчику. Теперь за этими «артефактами» охотятся все вокруг — нужно собрать их полностью. Тогда, возможно, получится узнать правду о богах...

Роман «Город звезд» разделен на две части, между событиями которых проходит четыре года. Том Белл сначала разводит героев — Машу и Ярослава, а потом сводит вновь. Они и повзрослели, и изменились: Маша, например, стала полноправным членом Орды, она больше не рабыня. Вождь разглядел в ней потенциал. И в этом смысле роман весьма зеркален: так, например, со стороны каждого героя есть по мудрому наставнику. И если в случае Ярослава это местный Гэндальф (который тоже не против покурить табачку и тоже живет не первую сотню лет), то в случае Маши — ее бывший «хозяин», опытный воин.

«Город звезд» написан по всем классическим законам фэнтези: тут есть и квест, и «дорога», и даже волшебный помощник имеется. Можно было бы сказать, что роман Тома Белла — это славянское фэнтези. Но тут стоит быть более точным: все же славянское фэнтези обычно базируется именно на образах из фольклора и мифологии. Здесь же ракурс смещен скорее в сторону исторических референсов, так что «Город звезд» стоит назвать скорее *древнерусским темным фэнтези* с нордическими нотками (пусть герои иногда и шлют друг к друга к лешему). При этом никаких откровенных элементов языческого славянского пантеона в книге

не встречается — одно упоминание Перуна разрушило бы всю ту «дженгу» из деревянных палочек, которую автор так старательно собирает. Миру Тома Белла знакома магия: тут есть и волшебные рисунки на стенах, путающие мысли, и магический наркотик из растения, которое цветет, даже если его соврать.

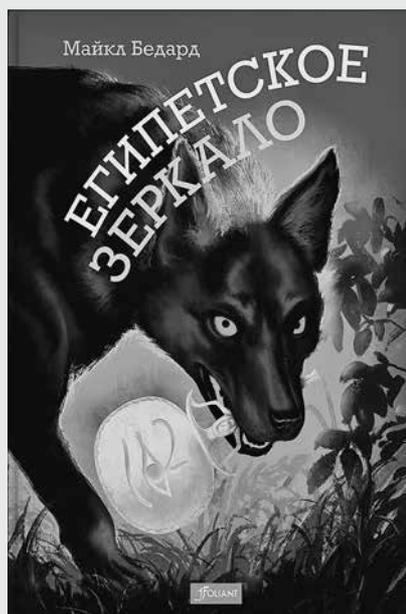
По манере повествования и атмосфере «Город звезд» слегка напоминает книги Алексея Пехова, который тоже пишет весьма классическое фэнтези — стоит напомнить, что в этом термине нет ничего плохого. Только вот роману Тома Белла местами не хватает живописности. К тому же в тексте иногда проскакивают неоправданные отсылки: Яромир вот сказал, что его как-то стали называть Мазаем после того, как он спас зайцев. В авторской речи можно было бы принять это за игру с читателем, а вот в реплике героя получается скорее баг, чем фишка. В остальном же «Город звезд» — бодрое начало серии для любителей классического фэнтези, готовых посмотреть на знакомые приемы в совершенно новом мире.

МАЙНЛ БЕДАРД, «ЕГИПЕТСКОЕ ЗЕРКАЛО» («ФОЛИАНТ»)

Так уж вышло, что Саймону, обычному канадскому парню, пришлось ухаживать за соседом — старым археологом мистером Хонинсом, который работал над книгой «Ловцы душ» о египетской магии. Сначала Саймон просто приносил старику еду, потом помогал по дому. И однажды посмотрел в диновинное зеркало, возможно, родом из самого древнего Египта — хоть археолога в свое время и заверили, что это подделка. То, что Саймон увидел в отражении, напугало его и изменило жизнь. А после таинственной смерти мистер Хонинса в его дом приехала женщина, которая зовет себя племянницей старика. Да вот только Саймон ни разу не видел, как она ела или спала, а еще у нее вечно с собой вонючее лекарство. Вместе с подругой Саймону предстоит выяснить, почему все вокруг ищут египетское зеркало и в чем тайна двойников На. Может, все просто мерещится? Доктора говорят именно так.

«Египетское зеркало» — это такой условный Хаггард для подростков, но с размахом приключений поменьше: никаких путешествий к гробницам или в копи царя Соломона. Но от этого роман не становится менее напряженным и увлекательным. Через весь текст протянута сеть для ловли читателя на множество крючков: что за таинственное письмо приходит старику, зачем ему коллекция зеркал, почему сестра кажется герою наной-то другой, что может значить символ Она Гора на книге и почему племянница археолога так хороша в музыке? В финале все встанет на свои места.

Майнл Бедард пишет увлекательную и в то же время познавательную историю, которая понравится даже взрослым: пусть некоторые сюжетные ходы читаются уже с середины романа. Книга никуда не спешит, здесь нет ненужного экшена — только саспенс и большая загадка, вокруг которой вращается все повествование. В «Египетском зеркале» очень грамотно и с любовью переложены элементы египетской мифологии и религии, а не как обычно бывает: вставить пару мумий там, пару — сям, ну и еще добавить обязательно злого бога Анубиса (который никогда не был злым). Так что авторский подход со знанием дела особенно приятен. Матчасть — писательское всё. Здесь даже заклинания напи-



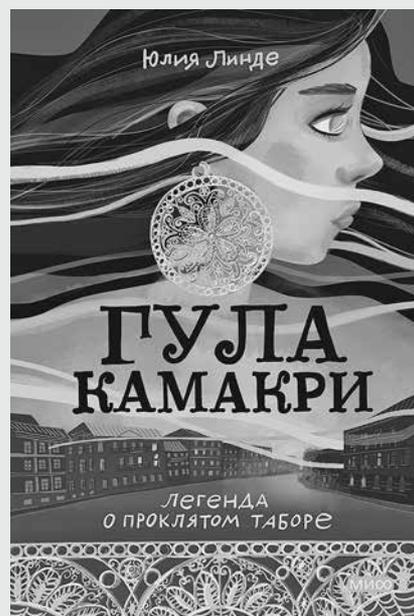
саны по аналогии с реальными — используются схожие речевые обороты. Поэтому «Египетское зеркало» — роман совершенно точно и для тех, кто любит египетскую мифологию, и для тех, кто мечтает в нее влюбиться. Вне зависимости от возраста.

ЯНА ЛЕТТ, «ПУСТАЯ» («АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР»)

Ленки — у нее много имен, но это она полюбила больше всего, — просыпается в лесу и не помнит, кто она такая. Даже забывает, что такое голод, — вспоминает об этом, только когда вновь понимает смысл слова «еда». Ленки просыпается *пустой* — странным существом с красными, как у кролика, глазами и белоснежными волосами. Теперь ей предстоит отправиться к людям, чтобы узнать правду о себе: Ленки посетит ведьму, молодость которой поддерживают невинные дети, познакомится с обществом Вольных Птиц, приедет в столицу и пообщается один на один со Слепым Судьей. Блюстителем судеб, планы которого — туманны. Одна проблема — пустых люди боятся и ненавидят, а на магов объявлена охота.

Новинка Яны Летт — подростковый роман с элементами притчи. Таинственные пустые — не более чем красивая метафора человека, потерявшего самого себя. А разве может быть что-то страшнее? Сюжет здесь не слишком изощренный, без безумной паутины причинно-следственных связей, но тем «Пустая» и подкупает: интриги в стиле условного Мартина погубили бы все обаяние романа.

История разделена на две части. Первая — квест-дорога в поисках ответов, вторая — события непосредственно в столице. Интересно, но выдуманный мир, с одной стороны, напоминает условное Средневековье (героиня посещает деревни и путешествует на лошади), а с другой — отдает легким ароматом стимпанка. Ведь в столице есть



воздушные суда и фонари. Кстати, «Пустая» балуется с альтернативными мирами... Сохраняя интригу, стоит лишь повторить слова Слепого Судьи, которые он почерпнул из одной «древней» сказки: «Алиса, выпей меня».

«Пустая» — роман-пазл. Читателю предстоит восстанавливать судьбу Ленки из подсказок, которые герои разбрасывают на протяжении всего текста: так, старуха забирает лошадь девушки, но называет имя того, кто причастен к ее становлению *пустой*. Яна Летт предлагает читателю поиграть в классики — прыгать с детали на деталь, чтобы, стоя на этих осколках памяти, как на кочках в густом болоте непонимания, прийти к финалу. Если быть внимательным — даже раньше нужного. В романе нет очевидных антагонистов, здесь каждый герой обрисован серыми красками и полутонами. Даже таинственный Слепой Судья неоднозначен: особенно противоречиво отношение к нему в конце книги, и без того душераздирающем. «Пустая» — мудрая, но в то же время легкая, без лишних изысков, ровная и увлекательная, местами неожиданная и иногда слишком уж холодная история о принятии себя, еще раз напоминающая, что человек — сумма всех принятых им решений. И иногда критически необходимо отпустить прошлое, ведь важно, по сути, только настоящее — здесь и сейчас. И вдруг окажется, что ответы на все вопросы, как водится, были перед носом. Стоило лишь посмотреть.

ЮЛИЯ ЛИНДЕ, «ГУЛА КАМАКРИ. ЛЕГЕНДА О ПРОКЛЯТОМ ТАБОРЕ» («МИФ»)

Анна — девушка цыганских кровей, приемная, но любимая дочь. В наследство ей непонятно как достались сережки из настоящего золота, она была с ними еще в детском доме. И вот после своего четырнадцатого дня рождения Анна с другом, который выступает в роли повествователя,

идет в бассейн — казалась бы, ничего необычного. И вдруг, нырнув в воду, девушка оказывается в таинственном междумирье — миром между жизнью и смертью. Она узнает легенду о своих предках — о таборе, который проклят считаться в междумирье. И ей предлагают сделку: золотые сережки взамен на любое желание или уникальную способность.

Книгу Юлии Линде лучше всего описать словом «самобытная». Это, казалось бы, обычный роман о трудном переходном возрасте, где героиня принимает не всегда верные решения, а потом исправляет свои ошибки. Но за счет цыганского колорита роман наполняется галлоном очарования: по тексту разбросаны разные легенды и элементы мифологии. Например, о дочерях Евы, каждая из которых стала прародительницей того или иного народа. Или о *ниваши* — духах воды без костей, с копытами, перепонками на руках и красными бородами. Собственно, ниваши и станут теми, кто будет торговаться с Анной, предлагая «способности». Трижды героиня пожелает не того, трижды вернется — все как в сказках. Да и в нашем мире Анна успеет натворить глупостей. Немудрено. Она — бунтарка: не любит восьмое марта, уши проколола в четырнадцать лет. К тому же безнадежно влюблена в того, кто не отвечает взаимностью. И даже волшебство этого не изменит. Как бы ни хотелось.

У романа «Гула Намакри» очень интересная подача: это якобы книга, которую в подарок на 15-й день рождения написал друг Анны. И опубликовал самиздатом. Юлия Линде подобрала абсолютно идущий на пользу истории слог — легкий, со сленгом, заимствованиями... К тому же всегда приятно поиграть в «ненадежного рассказчика». Пусть читатель немного помучается — это тоже полезно.



ПОЛИМАТЫ, БРОНЕПАРОХОДЫ И СЛОМАННЫЙ ИНТЕРНЕТ: КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ



ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
Литературный критик. Родилась в Москве, окончила Московский педагогический государственный университет. Автор ряда публикаций в толстых литературных журналах о современной

русской и зарубежной прозе. Руководила PR-отделом издательства «Вагриус», работала бренд-менеджером «Реданции Елены Шубиной». Главный редактор издательства «Альпина. Проза».

АЛЕНСЕЙ ИВАНОВ, «БРОНЕПАРОХОДЫ» («РИПОЛ КЛАССИК»)

Самая громкая книжная премьера января — это, конечно, «Бронепароходы» Алексея Иванова: масштабный роман о профессиональном сообществе речников в период Гражданской войны в России. Микс боевика, исторического и производственного романа, невероятная галерея персонажей (сопоставимая с «Тоболом»). Здесь и князь Михаил Романов, который мог стать наследником после отречения от престола Николая II, и капитаны пароходов, и владельцы судоходных компаний, бывшие дворяне и их дети, купцы и красноармейцы. Дочь бывшего владельца одной из крупнейших компаний Нятя Янцова вместе с командой бунсира пытается спасти по ошибке «недорасстрелянного» князя Михаила, а в это время суда переходят из одних рук в другие, идет борьба за часть золотого запаса страны и — параллельно — за секретные чертежи буровых вышек, которые позволят вывести нефтедобывающую промышленность на новый уровень. Исторический ли роман «Бронепароходы»? Отчасти безусловно, потому что поступки героев в значительной степени детерминированы именно эпохой и событиями Гражданской войны. Но едва ли не более важной здесь видится именно производственная составляющая: Иванов создал первый масштабный роман о насте речников, их особом мире, образе мыслей, целях и стремлениях. И том, что, собственно, изменили революция и Гражданская война в этом, совершенно особенном, мире. А об умении автора писать увлекательно, полностью погружая читателя в сюжет, и упоминать лишний раз не требуется.

«Расстрел Великого князя Ганьжа Мясников распланировал сам, и место тоже выбрал сам, однако на дело не поехал. Он — заместитель председателя Губчека, и его присутствие насторожило бы Михаила.»

Ганька поручил дело Жужгову и всю ночь ждал чекистов в Мотовилихе, в отделе милиции. Команда Жужгова вернулась уже утром. Вместо доклада Жужгов чиркнул пальцем по горлу – все, князя порешили. Чекисты разобрали багаж расстрелянных и поделили вещи; френчи и сапоги покойников сожгли в бурьяне у забора. Вечером, отоспавшись, Ганька отправил Жужгова с его подручными закопать тела, оставленные в лесу, и покатил из Мотовилихи в Пермь».

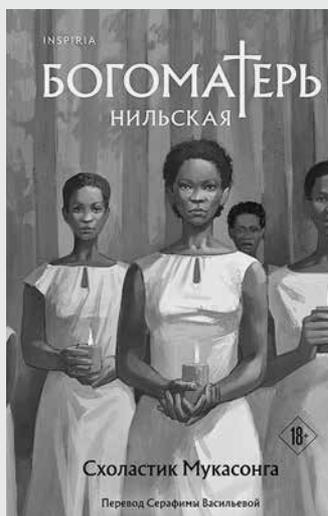
СХОЛАСТИН МУНАСОНГА, «БОГОМАТЕРЬ НИЛЬСКАЯ» (INSPIRIA)

Тема геноцида в Руанде не очень традиционна для русскоязычного читателя, который знает о том, что происходило там в семидесятые годы прошлого столетия, весьма приблизительно. Книга «Богоматерь Нильская» рассеивает этот туман, и трагедия обретает резкость и человеческие черты. Действие романа разворачивается в женском лицее Богоматери Нильской в истоках Нила, где девушек учат хорошим манерам: им нужно быть хорошими женами, матерями и христианками. Звучит как что-то из XIX вена, но это Африка. В лицее учатся дочери состоятельных и знатных родителей, но есть этническая квота для тутси. Они другие: выглядят немного иначе, они бедные и «неправильные». Герметичный мир школы, в котором, казалось бы, равные условия для всех должны были бы создать идеальное общество, на деле становится символом общества в целом. Здесь зреет ненависть и нетерпимость: то, что обсуждается дома и усваивается на каникулах, девушки приносят в стены лицея. Они юны, в них играет кровь, их охватывают неуверенность в себе и сомнения, они учатся общаться и дружить, но они знают, что из них растят элиту. Элиту, в которой не место некоторым, попавшим сюда по квоте. И настоящий кошмар начинается тогда, когда эти дети вдруг решают, что они уже достаточно взрослые для того, чтобы вершить судьбы других людей. Перед глазами читателя разворачивается трагедия: те, кто могли защитить и спасти, оказываются палачами.

«Наконец мать-настоятельница заговорила. Она приветствовала всех учениц, и в особенности тех, кто впервые переступил порог лицея. Она напомнила, что лицей Богоматери Нильской был создан для формирования женской элиты страны и что те, кому посчастливилось стоять здесь сейчас перед ней, должны в будущем послужить образцом для всех женщин Руанды, став не только хорошими женами и матерями, но также хорошими гражданками и хорошими христианками и что одного без другого не бывает. Женщинам предстоит сыграть великую роль в процессе раскрепощения руандийского народа. И именно они, учащиеся лицея Богоматери Нильской, избраны, чтобы встать в авангарде женского движения».

АЛЕНСАНДРА ШАЛАШОВА, «САЛЮТЫ НА ТОЙ СТОРОНЕ» («АЛЬПИНА.ПРОЗА»)

Еще одна новинка, в которой используется прием герметичного романа. Если Схоластин Мунасонга рисует женский элитный лицей, то в романе Алесандры Шалашовой действие разворачивается в санатории для слабовидящих детей, расположенном на берегу Сухоны. В этот санаторий родители отправляют детей и подростков от прибли-



жающейся странной и непонятной войны: непонятно, кто и за что воюет, но оставаться в городе становится слишком опасно. Одиннадцать рассказчиков, десять из которых оказались в этой вынужденной резервации, и один, который приходит к ним по взорванному мосту. Одиннадцать человек, рассказывающих одну историю: историю страха и неизвестности, историю голода и смерти. В какой-то момент дети остаются в санатории одни: теперь ответственность за их жизни лежит на них самих. Что там, на другом берегу рени? Взрывы или залпы победных салютов? Почему родители за ними не приходят? Чтобы получить ответы на эти вопросы, нужно идти в город самим. Александра Шалашова написала страшный триллер об ответственности и страхе, о том, что значит быть взрослым и есть ли у маленького человека шанс на спасение в большом жестоком мире.

«Шум в дверях – входит, вбегает Алевтина. Я аж с ложкой возле рта застыла, она никогда не вбегала, никогда, только двигалась плавно, лениво; не из-за большого веса, как Хавроновна, а просто – берегла себя. Шутила – и от пожара не побежит, поплывет.

– Ребята, – говорит Алевтина, – а ну все замолчали, разом. Тарелки оставили, все потом. Чтобы я звона ложек не слышала!

Кто-то заворчал, не послушал.

Тогда она поднимает ближайшую пустую тарелку с потеками каши и с силой грохает об пол – только Хавроновна не бежит, не ругает ее, не причитает, что вот сейчас полы оттирать, а технички нет, сбежала она еще тогда. А когда – не знаю; наверное, в тот день, когда охранник перестал выпускать за территорию. И до сих пор гул в голове стоит, не стихнет. Надо будет Кроту рассказать, если он про порок сердца понимает, то неужели с такой ерундой не разберется?»

ДЭН ДЖОНС, «ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ: КРАХ ПЛАНТАГЕНЕТОВ И ВОЦАРЕНИЕ ТЮДОРОВ» («АЛЬПИНА НОН-ФИНШН»)

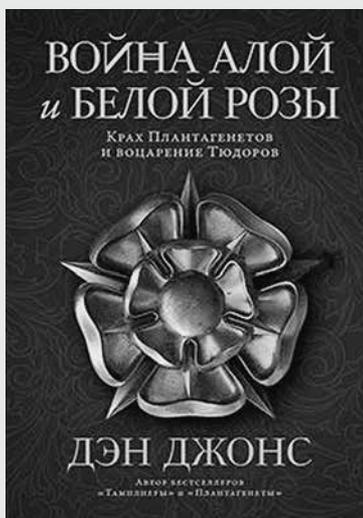
С XV века Англию разрывали на части враждующие дома Ланкастеров и Йорнов. Эмблемой Ланкастеров была алая роза, Йорнов — белая. Вообще пятнадцатое столетие было весьма кровопролитным и жестоким: так часто, как в этот исторический период, власть в государстве не захватывали силой никогда больше. Все это закончилось тем, что последние наследники Плантагенетов были уничтожены, и на престол стали претендовать Тюдоры, которые в своей пропаганде как раз и использовали концепцию Войны роз. Настолько убедительную, что она прижилась в официальной историографии на многие века. Это был тяжелый период политической нестабильности, начало которого лежало в кризисе королевской власти и потере контроля над Францией при Генрихе VI. Дэн Джонс традиционно великолепен, всем поклонникам его «Тамплиеров» и «Плантагенетов» читать обязательно, а всем, кто не читал, читать в любом порядке.

«Чтобы до конца понять, как правление Плантагенетов потерпело крах и как была основана династия Тюдоров, нам следует начать не с 1450-х, когда английская политика начала трещать по швам из-за насилия и военных действий, не с 1440-х, когда появились первые признаки политического кризиса, и даже не с 1430-х, когда родились первые “английские” предки королей из династии Тюдоров. Мы начнем рассказ с 1420 года, когда Англия была могущественнейшей державой Западной Европы, английский монарх слыл властелином мира и представлялось, что впереди страну ждет блестящее будущее. Мысль о том, что при жизни всего одного поколения Англия превратится в самое беспокойное королевство Европы, тогда показалась бы абсурдной».

ДЭВИД СКОТТ ХЭЙ, «ФОНТАН» (POLYANDRIA NO AGE)

Роман, ставящий философский вопрос природы искусства как волшебного дара. Откуда рождается та самая искра, которая высветляет шедевр? И какую цену за эту искру приходится заплатить создателю этого шедевра? Во время одной из выставок в Чикагском музее современного искусства рождаются два выдающихся произведения, каждое из которых создано абсолютным дилетантом. Одно — десятилетним мальчишкой, другое — пожилой дамой. Из ряда вон выходящее событие объясняется столь же невероятно: талант в них пробудила вода из музейного фонтана. Событие, конечно, вырывается в топ новостей, и к фонтану выстраиваются километровые очереди. Автор ставит вопросы, что такое современное искусство, как оно рождается и сможет ли оно выдержать испытание временем. Как оно будет развиваться дальше? Имеет ли современное искусство смысл как чистый артефакт, в отрыве от самого акта творения — перформанса? И как отличить новый шедевр от имитации и халтуры? Во многом пародийная, но не злая, а, напротив, с большой любовью написанная книга, рассказывающая читателю о том, чем живет художник и чем он готов пожертвовать, чтобы его услышал весь мир.

«— Ты сам скажешь этим ребятишкам, что все было обманом? Что нужно всего лишь глотнуть воды, чтобы обрести этот статус? Кажется, ты не понимаешь. Если люди будут приходить сюда и пить воду... А как насчет



мастерства, жертвенности? Раз – и готовы новые Пикассо, Моне, Густавы, Друдески, Бонтеку, Фасгольды, Аракеляны. Как сорняки. Деваться будет некуда от однодневок.

– Ты говоришь так, будто это плохо, – говорит Лес, выполняя девятифутовый патт.

– Эти произведения искусства разбили мне сердце. Они свели мое литературное существование к дурной шутке, детской книжонке, пустой трате времени. И что же превратило меня в никчемное существо? Меню-венное искусство. Моя профессия разделила участь динозавров. Это мой астероид...»

БЕРНХАРД ШЛИНК, «ВНУЧКА» («АЗБУКА-АТТИНУС»)

«Отцы и дети» современной немецкой литературы, роман о поколениях и настоящей любви. Биргит бежит к Наспару из Восточного Берлина в Западный, и они живут вместе всю жизнь, и только в старости Наспар узнает, какую цену жена заплатила за это бегство. Узнает слишком поздно, чтобы расспросить ее: она мертва. Но за нее рассказывает написанная ей книга — несколько папок в ящике ее стола. Так Наспар, только что лишившийся любимой жены, вдруг обретает ее внебрачную дочь — пусть пона только на бумаге. И внучку. Им предстоит познакомиться и многое обсудить. А читателю — многое обдумать: природу любви, проблему поколений, историческую память, неудобное прошлое, политические взгляды. «Внучка» — это еще и роман о внезапном и неотвратимом одиночестве — и ребенке, который с ним помогает справиться. Просто не будет, но ведь и в жизни редко бывает просто.

«Он стал один за другим открывать ящики стола. В верхнем лежали чистая писчая бумага, ручки и карандаши, ластик, точилки, скрепки



и прозрачная клейкая лента, в двух нижних – папки с разрозненными машинописными текстами, иногда всего несколько строк, иногда целые абзацы, записки, написанные почерком Биргит, письма, вырезки из газет, ксерокопии, фотографии, брошюры. Папки не были надписаны, и их содержимое, судя по всему, имело случайный характер. Но он знал Биргит; это был лишь кажущийся хаос, и в папках хранились какие-то формулировки, понятия, фрагменты отдельных глав. Однако он не мог сосредоточиться и разглядеть какой-то порядок. Среди папок лежала открытка с репродукцией “Шоколадницы” Жана Этьена Лиотара из Дрезденской картинной галереи. Он перевернул ее – почтовая марка ГДР, но адрес отправителя не указан. “Дорогая Биргит, я недавно ее видела. Веселая девочка. Похожа на тебя. Твоя Паула”. Он еще раз внимательно всмотрелся в лицо “Шоколадницы”. Никакого сходства с Биргит. Внимательный взгляд? Пожалуй. Биргит тоже иногда так смотрела. Но этот остренький носик и этот ротик... Нет».

АННА ЛУКЯНОВА, «ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ» («АЛЬПИНА.ПРОЗА»)

История семнадцатилетней Ани, живущей с родителями в небольшом и совершенно ничем не примечательном городке. Сложный возраст взросления, познания и принятия себя, не всегда интересная жизнь и призрачные перспективы — девушка чувствует свою необычность, поскольку воспринимает окружающий мир слишком остро, ловит его оголенными рецепторами, ощущает свою ответственность за благополучие всех людей, знакомых и незнакомых. Она окружает себя странными ритуалами вроде многократного включения и выключения света в комнате перед сном или перешагивания трещин на асфальте, чтобы не началась

война и родные были здоровы и благополучны. «Ритуалы придумывались сами, мгновенно, как только приходил страх. Страх тоже приходил внезапно, как будто удар молнии просквозил черепную коробку». Это разрушает ее, медленно, но неотвратимо. В какой-то момент Аня понимает, что у нее обсессивно-компульсивное расстройство, и теперь ей нужно научиться с этим знанием жить. Ноторое, как оказывается, может быть и избавлением, потому что при должной терапии полноценная счастливая жизнь вполне возможна. Честная и искренняя повесть о взрослении, вере в будущее и настоящей дружбе.

«Аню тоже зашатало, но не автобусом, а чем-то другим. Ей казалось, что в жизни у нее разверзлось летное поле и неизвестно откуда взявшиеся полчища пророчеств-истребителей залетают ей прямо в рот, чтобы разбиться о брюшную посадочную полосу. Обидно было, что летчики даже не старались как-то пилотировать, просто на огромной скорости впечатывались в асфальт и горели. И чем больше их было, тем жарче раздувался пожар. Аня чувствовала, как эти истребители и правда истребляют ее. Она уже попробовала сосчитать до четырех и обратно, но это работало в ситуациях средней паршивости. В нынешнем же положении, когда самолеты спокойно залетали уже и через глаза, и через нос и взрывались ядерными грибами в самом мозгу, считать было мало – нужно было действовать. Аня никогда не могла поймать тот момент, когда из темноты к ней приходило решение. Для простоты можно было бы созвать: мол, какой-то голос нашептывал ей, что делать. Но голоса не было. Было обыкновенное понимание. Кристально четкое, однозначно правильное. На этот раз Аня знала, что ей нужно удариться о стекло лбом, тогда ад выключится, как выключается микроволновка, – дзынь. Аня ударилась, а потом снова ударилась. Ударилась еще раз. Руки Вадика повели ее за плечи назад, но Аня зло отшвырнула их и опять стукнулась лбом о стекло».

ДОНАТО НАРРИЗИ, «ДОМ БЕЗ ВОСПОМИНАНИЙ» («АЗБУНА-АТТИНУС»)

Долгожданное продолжение «Дома голосов» не разочаровало поклонников Нарризи: в новом романе есть все, что так полюбилось им в прошлом, плюс новая история. Пожилая дама без видимых причин теряет покой и сон и каждую ночь отправляется в лес гулять с собаками. Во время одной из таких странных прогулок она встречает в лесу двенадцатилетнего мальчика, который не может говорить. Оказывается, что ребенок пропал вместе с мамой больше полугода назад, но что с ними случилось, остается загадкой. Чтобы разговорить подростка, зовут знаменитого гипнотизера Пьетро Джербера, уже знакомого читателям по первой книге автора. Ему удается разговорить мальчика, который рассказывает пугающую историю, но говорит при этом не от своего лица, а от лица некоего Сказочника — гипнотизера еще более сильного, чем Джербер. Читателю предстоит поломать голову, что из рассказанного ребенком реально, а что — лишь искусно создаваемая Сказочником «легенда». Нарризи — мастер психологической прозы, возведенной в абсолют, каждой своей книгой он демонстрирует нам безграничность возможностей человеческого сознания, и «Дом без воспоминаний» — не исключение. Рекомендуются всем, кто ищет динамичный, затягивающий, пугающий сюжет, заставляющий постоянно сомневаться в собственных выводах.

«Мир обретет нового флорентийского монстра, на этот раз в облике ребенка. <...>

Но зло не всегда можно объяснить.

И Джербер хотел, чтобы эти люди ощутили то же, что он сам испытал в игровой комнате, тот же ужас, то же смятение, какие психолог почувствовал, прежде чем Николин снова стал всего лишь ребенком. Будто бы два существа находились внутри него.

Безобидный двенадцатилетний мальчик и хладнокровный убийца».

ПИТЕР БЁРН, «ПОЛИМАТ. ИСТОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ОТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ДО СЬЮЗЕН СОНТАГ» («АЛЬПИНА НОН-ФИНШН»)

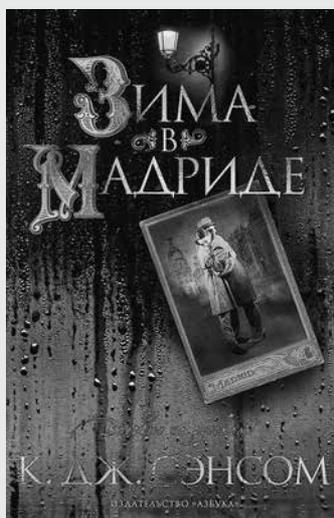
В своей научно-популярной книге Питер Бёрн исследует феномен полиматов — энциклопедически образованных людей, которые не сосредотачиваются на какой-либо одной области знания и занимаются многими предметами. Леонардо да Винчи, пожалуй, самый известный полимат в мире — его имя приходит на ум первым. Но далеко не единственный: автор книги рассказывает о Гёте и Джордже Элиоте, Олдосе Хансли и Хорхе Луисе Борхесе, Ролане Барте и Юрии Лотмане, Томасе де Нвинси и Сэмюэле Нольридже, Томасе Юнге и Павле Флоренском — и многих других. Бёрн исследует природу их уникальности, то, какие врожденные или приобретенные черты ведут к универсальности. Как универсальность связана с эпохой, в которую живет человек, как на нее влияет технический прогресс. По-настоящему научное (одних ссылок в ней пятьдесят страниц), но при этом удивительно интересное исследование, приоткрывающее для читателя мир энциклопедистов, раздвигающих границы познания.

«Некоторые дисциплины особенно часто становились своего рода трамплинами для полиматов. Самым очевидным примером является философия с ее традиционным интересом к основам знания. Дюркгейм, Фуко и Бурдьё, например, получили философское образование. Еще одним трамплином была медицина, приучающая к тщательности и точности наблюдений, что оказывалось полезным и в других дисциплинах. В раннее Новое время врачи часто изучали ботанику и химию для медицинских нужд, а Мигель Сервет также интересовался астрономией и географией».

Н. ДЖ. СЭНСОМ, «ЗИМА В МАДРИДЕ» («АЗБУНА-АТТИНУС»)

Шпионский триллер от автора детективной серии о Мэтью Шардлейне.

В этом романе действие разворачивается в 1940 году, когда Испания еще политически нейтральна, но генерал Франко уже победил в гражданской войне. Его симпатии к Гитлеру и Муссолини несомненны, но Черчилль старается удержать Франко от активного участия во Второй мировой. Главный герой — британский разведчик Гарри Бретт, которого внедряют в британское посольство в Мадриде под видом переводчика, чтобы он собрал информацию о деятельности своего бывшего одноклассника Сэнди Форсайта. Их третий школьный приятель, Берни Пайпер, по официальным данным, пропал без вести в одном из сражений, но есть подозрение, что он жив. Теперь, через десять лет после окончания школы, молодые люди должны будут встретиться снова: их судьбы становятся частью большой истории. Каждый из них вынужден жить под легендой



и прикрытием, в новой реальности искренность и доверие могут стоить слишком дорого.

«Они въехали в центр города. Большинство домов стояли облупившиеся и еще больше обветшали с тех пор, как Гарри их видел, хотя когда-то, скорее всего, поражали великолепием. Повсюду висели плакаты Франко и символы Фаланги – двойное ярмо и пучок стрел. Многие люди носили отрепья (даже во время Гражданской войны одевались лучше) и выглядели худыми и изможденными. Мимо проходили мужчины в рабочих комбинезонах, с костистыми обветренными лицами, и женщины в латаных-перелатанных черных шалях. Даже тощие бледные дети, которые играли в пыльных канавах, озирались по сторонам настороженно. Гарри отчасти ожидал увидеть военные парады и митинги фалангистов, как в кинохронике, но он никогда не думал застать этот город таким тихим и таким грязным.»

ГОЯН НИКОЛИЧ, «КОРОЛЬ СУСЛИКОВ» (POLYANDRIA NO AGE)

Герой романа американского писателя Гояна Николича «Король сусликов» Стэн Пржевальский (фамилия явно неслучайна) — ветеран вьетнамской войны, живет в маленьком городе в штате Колорадо, где издает еженедельную газету. Но военные флешбэки его не отпускают, и после ряда потерь и разочарований он отправляется обратно во Вьетнам за прощением и искуплением. Однако легче там не становится, потому что его ждет встреча... с говорящим и весьма образованным сусликом. Суслик неплохо шарит в литературе, кинематографе и рок-музыке 1960-х. Благодаря вечному недосыпу, переутомлению, депрессии и препаратам Стэн живет в пограничном состоянии двоемирия. На этой дуальности и строится роман: реальность и иллюзия, война и искусство,

инстиннты и рефлексия, ужас и легкий юмор. В общем, просто не будет, но жизнь всегда стоит того, чтобы ее жить.

«Я ужасно переживал за Чаза и потому поехал обратно к поре, в которую его затолкал. На душе было беспокойно – склоны горы Бэллэйж кишмя кишели койотами. Дождавшись до поселения сусликов, я обнаружил, что Чаз сидит снаружи в грязи и раскладывает по алфавиту коллекцию альбомов рок-музыки шестидесятых. На дереве неподалеку были закреплены дорожные колонки, из которых лилась музыка. Паваротти исполнял арию “Nessun dorma” из оперы Пуччини. В тот самый момент, когда певец взял свою знаменитую ноту “до”, от которой мурашки по коже, король сусликов посмотрел на меня и его глаза наполнились слезами.»

ПАУЛИНА БРЕН, «БАРБИЗОН. В ОТЕЛЕ ТОЛЬКО ДЕВУШНИ» («РИПОЛ КЛАССИК»)

Нью-Йорк. Ревущие двадцатые. Отель для творческих и независимых девушек. Все то, что было описано в трилогии Малики Ферджух «Мечтатели Бродвея» в виде сентиментальной эпопеи, приобретает у Паулины Брен документальные черты. Реальный отель «Барбизон» в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, где жили Сильвия Плат, Рита Хейворт, Лайза Минелли, Грейс Нелли, Молил Браун, Сибил Шепард и множество других антрис, певиц, художниц, писательниц и моделей. Портрет одного здания, которое совершило настоящий переворот в искусстве: дом здесь — главный герой романа. Он стал прибежищем для многих будущих мировых звезд, которые ровно столетие тому назад приехали покорять Нью-Йорк. Этот роман — хроника успеха и сомнений, надежд и провалов, гимн феминизму и вере в собственные силы. В мире женского искусства XX века этот отель стал той точкой опоры, которая была необходима его постоялицам, чтобы вернуться Землю.

«“Барбизону” удалось по-настоящему захватить внимание Америки. Он стал желанным местом назначения для молодых женщин всей страны, намеренных попытать счастья в Нью-Йорке. Постоялица “Барбизона” виделась дебютанткой, которая боится сказать родителям, что хочет стать художницей; продавщицей из Оклахомы, мечтающей о бродвейской сцене; восемнадцатилетней невестой, обещающей жениху, что она “съездит в Нью-Йорк и быстренько назад, вот только выучится печатать на машинке”. Отель должен был воплотить совсем другой тип женских желаний: блеск, страсть и девичьи стремления. Теперь, когда “Аллертон” был почти достроен, Уильям Силк задался целью объединить женственность с новой независимостью; он заявил следующее: подобно тому, как платье современной женщины избавилось от громоздких рюшечек Викторианской эпохи, сделавшись предельно простым, так и номера в отеле “Барбизон” должны были отражать “полноту жизни, открывшуюся женскому полу”, в то же время не забывая о том, что женщины “ни в коем случае не утратили атрибутов женственности”».

ЛЮСИНДА ГИФФОРД, «ВОЛНИ ИЗ ШУББЕРИ-ХОЛЛА» («ПОЛЯНДРИЯ»)

Прекрасная сказка для семейного чтения (а также разглядывания авторских иллюстраций) или самостоятельного чтения в младшем школьном возрасте. Волче семейство Шуббери из древнего шотландского рода живет в Моровии, но однажды решает отправиться в путеше-



ствие на историческую родину, в которой никто из них раньше не бывал. Разумеется, без приключений в Шотландии никак не обойдется. Весьма важная педагогическая задача (рассказать ребенку, как важно бережно относиться к природе и историческим памятникам) в ней замаскирована под увлекательную историю и по-настоящему смешные шутки. Шуббери — весьма учтивые, приветливые, воспитанные и немного странные волки с прекрасным вкусом. Кстати, об этом: рецепты поглощаемых героями блюд придают книге особенное очарование.

«Вскоре снаружи стемнело. Борис развернул конфетку. Оказалось, это засахаренный каштан — удивительно вкусный. Борис разгладил фольгу и вложил ее между страницами своего блокнота. После чего забрался к себе на полку и вытащил из рюкзака “Историю шотландских Шуббери”. Увлекательное это было чтение — множество захватывающих историй многосотлетней давности. Борис прочел про Ламберта Макволкуса — первого волка, ставшего шотландским бароном. Ламберт выглядел очень гордым, стоя посреди шотландского глена перед своим замком под названием Вольфемина-холл. Но у барона были враги».

МАРК-УВЕ КЛИНГ, «БАБУШКА СЛОМАЛА ИНТЕРНЕТ» («НОМПАСГИД»)

Один из самых известных современных немецких детских писателей. Эта история — его абсолютный мировой хит. Живая, веселая и очень злободневная, она очаровывает и детей, и родителей, а заодно напоминает взрослым о настоящих ценностях и удовольствиях. В совершенно обычной семье родители уехали на работу, а с детьми (дело происходит в каникулы) остались бабушка с дедушкой. Дедушка нашел очень увлекательную программу про рыбалку и как раз собирался ее посмо-



треть, как вдруг... Бабушка сломала интернет. Не повредила соединение, не отключила сеть в отдельно взятой квартире. Она сломала интернет во всем мире. Но она случайно, конечно. Что-то нажала — и все исчезло. Но сердиться на нее совершенно невозможно: она же не специально. Во всем мире коллапс, платежи не проходят, навигаторы не работают, связи нет. Что же делать? Ответ очевиден: поскорее всем возвращаться домой и найти веселое занятие для всей семьи без гаджетов и телевидения, без звонков с работы и писем. Прекрасная добрая история о семейных ценностях и дефиците времени, проводимого вместе. Бабушка, пусть и не специально, сделала не такую уж плохую вещь.

«— Отправить! — снова сказал Макс, нажимая на кнопку. Но ничего так и не вышло. — Не работает, — заключил он.

— Я же говорила, — заметила бабушка.

— А что случилось? — спросила Тиффани.

— Боюсь, это я виновата, — призналась бабушка. — Я вырубилась весь интернет.

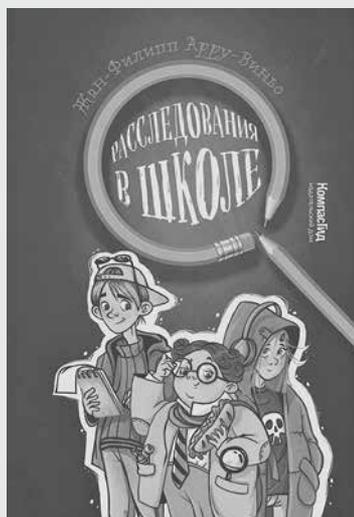
— Ба, как ты могла его вырубить? — удивился Макс.

— Сама не знаю, — сказала бабушка. — Вырубилась, да и все. Не специально, конечно».

КРИСТАЛ СНОУ, «ПЕННИ ОРЕХОВОЕ СЕРДЦЕ» («ПОЛЯНДРИЯ»)

Серия из двух книг — «Пенни Ореховое Сердце и ужасный торт «Пропади ты пропадом» и «Пенни Ореховое Сердце и «Проклятие монстрянки»».

Первая — история о семье феечен, сердца которых величиной с орех: огромные для маленьких фей и очень хрупкие. Маленькая Пенни очень



боится за свое сердце и потому ограждает его от любых забот и волнений. Однако приехавший к соседне крестник Маркус заставляет Пенни волноваться. Девочке ничего не остается, как объявить Маркусу войну, главным оружием в которой должен стать очень коварный торт. Только вот в какой-то момент выясняется, что Пенни совершенно напрасно злилась и сердилась — она ошибалась насчет Маркуса. Книга о том, как важно вовремя признать свои ошибки и попросить за них прощения.

Вторая история рассказывает о страшном недуге, который поразил младших сестренек подруги Пенни Лианы. Они заболели монстрянной, и взрослые уверяют, что дети легко переносят болезнь и через неделю полностью поправятся, но девочкам кажется, что им рассказывают не все. Динамичный и увлекательный сюжет — и ситуации, в которых и ребенок, и взрослый может узнать себя. Монстрянка — болезнь далеко не только детская. Вызывается гневом, напризами, завистью и много чем еще. Но есть ли от нее действенное лекарство?

«— Ты что натворила? Весь дом на уши подняла! — напустилась на нее Пенни, закрыв дверь.

— Сама не знаю... Внутри все разрывалось от досады, печали и гнева. Плохо помню, как я прокралась в кухню и начала громить посуду, а потом накинулась на печенье и пирожные. Монстр, оказывается, и вправду чрезвычайно неприятное существо, но я ничего не могу с собой поделать».

ЖАН-ФИЛИПП АРРУ-ВИНЬО, «РАССЛЕДОВАНИЯ В ШКОЛЕ» («НОМПАСГИД»)

Игра в детективов — это очень весело. Французский писатель Жан-Филипп Арру-Виньо, создатель знаменитых «Приключений семейки из Шербура», обратился к детективному жанру. Герои новой книги — трое

семиклассников, которые расследуют странные происшествия. Например, выясняют, куда подевался учитель, который вез школьников на экскурсию в Венецию. Или — что случилось со школьным лаборантом месье Штативом, найденным без сознания. Или вообще — что за странные научные эксперименты проводят пожилая английская леди и ее слуга. Три друга — два мальчика и девочка — схема, работающая безотказно: не только серия о Гарри Поттере тому доказательство, но и множество других книг. У каждого из героев своя «суперспособность» — смелость и находчивость, ум и начитанность или вера в себя и свой исключительный потенциал. Веселые и добрые истории для младшего школьного возраста.

«Я мельком увидела силуэт незнакомца, который вышел из кафе вслед за нами. Мы побежали по первой попавшейся улочке — и бежали, бежали, бежали все быстрее и быстрее! Страшный сон продолжался. За нами кто-то гнался, прерывисто дыша. Поклясться я не могла, но, по-моему, он звал нас по именам. Интересно, это один из ночных посетителей музея? Нам во что бы то ни стало надо было от него убежать. Реми тянул меня за руку, и мне казалось, что я уже никогда не смогу нормально дышать».

АННА ВОЛЬТЦ, «10 ДНЕЙ В УКРАДЕННОЙ МАШИНЕ» («ПОЛЯНДРИЯ»)

Намилле двенадцать лет, ее мама ждет второго ребенка, и девочка отправляется на корабле из Нидерландов в Швецию с весьма скептическим настроением — сослала, чтобы не мешалась под ногами. Там ее должны встретить друзья семьи: подростки Йонас и Бэн вместе с их отцом. Однако что-то идет не так. Шестнадцатилетний Йонас и тринадцатилетний Бен действительно приезжают, только вместо их отца в машине на заднем сиденье орущий младенец. Братья уговаривают девочку не шуметь и помочь им. Терять Намилле особенно нечего, поэтому путешествие в интересной компании в шикарном синем «саабе» кажется ей вполне рабочей идеей. Это, конечно, не роман воспитания, но повесть о взрослении — точно. Каждый из героев находится в поиске, каждый за время путешествия обретает то, в чем нуждается больше всего. Намилла примиряется с разводом родителей и будущей сестренкой, а мальчики, недавно потерявшие мать, спасают отца. Вольтц снова, как в книгах «Удивительная неделя Тесс», «Сто часов ночи» и «Эви, Ник и я», демонстрирует и сюжетное мастерство, и тонкий психологизм, и ту неповторимую искреннюю интонацию, которая так нравится читателям.

«Я вдруг вспомнила все до единого слова, что выкрикнула в лицо этим мальчишкам, и все, чего они мне не сказали. И там, на самой вершине скалы, у меня загорелись щеки. Господи, какой же мерзкой девчонкой я была.

Я осторожно выглянула за край. Йонас был на полпути.

— Прости меня! — крикнула я.

Честное слово, я никогда не произношу эти слова. И уж тем более не ору и во все горло со скалы так, чтобы услышал весь мир».

